Надежда Шубина

ОБРЕТЕНИЕ



Надежда Шубина

ОБРЕТЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Ташкент
Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана
«Ёш гвардия»
1986

Ш $\frac{4702010200-155}{356(04)-86}$ 51—86



I.

Николай Михайлович Рославлев проверил запись операции и потянулся за ручкой. Ручка не писала, вместо даты и подписи получились слепые каракули.

«Не желает,— усмехнулся он.— Сочувствует!».

После глупой сцены ночью в операционной ему не хотелось расписываться за первого хирурга. Не хотелось, чтобы сегодня было третье марта — такое долгожданное и так не вовремя.

Наконец он протянул историю болезни ординатору Ходжаеву, готовому принять вахту.

— Как считаешь, годится такая подпись?

— Сойдет! Бумага!— кивнул Рашид.— Зато на операциях вы — каллиграф.

— Вот как?

— Конечно, такой точный анатомический нажим! Позавидовать можно.

— Ну... счастливо оставаться!

В другой раз похвала Рашида была бы приятна Ни-

колаю Михайловичу, но сейчас она казалась неуместной.

В коридоре отделения пахло утренней сыростью, дезинфицирующим раствором. Линолеум просыхал на глазах. Санитарка шлепала мокрой тряпкой по ступеням лестницы. Николай Михайлович остановился. Навстречу поднимался Немцов — клочья седых бровей под белой шапочкой.

«Сказать о ночной неувязке сейчас же,— подумал Николай Михайлович,— сказать именно ему — Немцову... Но что сказать? Как?».

Старик поднял голову.

— Здравствуйте, Осип Петрович!

— Доброе утро!

Николаю Михайловичу показалось, что Немцов вот-вот о чем-то спросит, но тот только перевел дух, ступая по-стариковски тяжеловато и ровно.

— Проходите!— поторопила Рославлева нянечка, брякнув ведром.

Было начало девятого. Входная дверь беспрестанно хлопала. В раздевалке толпился народ: снимали пальто, надевали халаты, сморкались, перекрестно здоровались. Николай Михайлович двигался против течения, приветствовал сотрудников немыми полупоклонами, в которых сочетались и «здравствуй» и «до свидания». На бойком месте,— у зеркала, кто-то исхитрился пристроить листок с красной восьмеркой: зов на торжественное собрание.

Николай Михайлович устал, самые элементарные движения — кивок головы, улыбка,— требовали усилий. За двадцать лет, что прошли после контузии, он достаточно изучил свои недуги, привык к подобным «перепадам» и мог оценить их как специалист, по-врачебному... Точно так же привык он каждый год ждать нынешнего дня — третьего марта, но и от осознания

нелепости этого ожидания, ровно ничего не менялось. Ничего.

Николай Михайлович вышел из корпуса. Полузимнее утро. Сумрак. Фонари уже погасли. В воздухе стыла леденеющая сырость.

Он ждал третьего марта, чтобы, как всегда, поздравить с днем рождения Алесю Долгову, ныне — «мадам Глазырину». Раз в году у него был законный предлог услышать ее голос.

В последние годы он звонил ей из клиники. Когда вокруг занятые люди, разговор волей-неволей урезывается. Иначе было бы мучительно. Несколько слов: «Поздравляю, будь здорова»,— и до следующей весны.

Он рассчитывал, что и сегодня позвонит из клиники, но примешалась досадная ночная неувязка в операционной. В троллейбусе пассажиров мало. Холод, сырость. Входящие отряхивались; их сторонились. Николай Михайлович сел у входа, напротив задней площадки.

Накануне заветного дня его всегда томило ожидание. Он старался уйти в дела, чтобы хоть как-то отвлечься. Сегодня — другое... Этот случай в операционной... Неужели дальнейшие его занятия хирургией...

Троллейбус остановился почти посередине мостовой, вслед за пассажирами Николай Михайлович выпрыгнул на тротуар через большую незастывшую лужу, затем пересек бульвар и площадь и пошел по Арбату.

Праздничное оформление витрин напоминало о приближении женского дня.

«Да, еще эти подарки...— поежился Николай Михайлович.— А вот когда выбраться в Клин к Вале? Только не теперь — после... Все потом. Завтра. А сегодня, сейчас...».

Николай Михайлович свернул в переулок, чтобы выйти к своему дому близ Собачьей площадки. Здесь было суше, падающий снег на асфальте не таял.

Николай Михайлович жил один, жена его учительствовала в Клину и появлялась в Москве только по свободным дням. Он представил себе, как через несколько минут окажется в пустой квартире наедине с телефоном. Впереди — целый незанятый день. Так что же, затягивать это дурацкое ожидание? Ходить вокруг телефона и прятаться от самого себя за раскрытой книгой или газетой? Решение пришло внезапно: звонить сейчас же.

У автомата две девушки любезно предложили ему позвонить без очереди, ссылаясь на то, что их разговор будет очень долог. Остались здесь же. Тем лучше. Он опустил монету. Долгие гудки... щелчок.

— Алло!

— Позовите, пожалуйста, Александру Павловну!

(Чужое какое-то имя. Так зовут ее теперь? Алесей ее называли дома, в юности. Интересно, как зовет ее муж: Сашей, Шурой, может быть Аллочкой?)...— Да, да, Александру Павловну...

— Александра Павловна в Италии. Вернется недели через две. Ей что-нибудь передать?

— Нет, спасибо. Хотя... передайте, что звонил Рославлев. Доктор Рославлев.

— Врач? Хорошо, передам.

Николай Михайлович поблагодарил девушек и побрел к дому, поглядывая на темные окна, за которыми его никто не ждал.

Вынув из ящика почту, Николай Михайлович поднялся к себе, зажег свет в передней, затем вошел в столовую и раскрыл «Вестник хирургии». В оглавлении несколько знакомых имен. В том числе тех хирургов, которых он видел сегодня в больнице. По пути ли ему с ними? Николай Михайлович положил «Вестник» на пыльную крышку рояля.

«Так как же быть с хирургией?.. Бросить?..»

«А вы-то здесь зачем, Николай Михайлович?» — произнес сегодня ночью в операционной молодой самоуверенный голос...

Что-то похожее уже было. Только тогда было иначе. Лет тринадцать назад. Тоже ранней весной. Он не дотянул второй курс в художественном институте. Тогда кончилось отчаянным бегством...

Теперь он не уйдет из больницы, будет ли покончено с хирургией или нет. Если представится случай, еще пооперирует...

«Александра Павловна в Италии»...

«...И зачем вообще поддерживать мираж этой юношеской любви и тревожить нелепыми звонками чужую жену, добродетельную мать семейства? Зачем себя истязать? Зачем, имея респектабельную административную должность, делать вылазки в операционную?.. Хирургия... Оно конечно... Дорогое и заветное...»

«На операциях вы — каллиграф», — говорит Рашид — щедрая душа.

Николай Михайлович усмехнулся.

Кефир, на который он понадеялся, превратился в брынзу. Николай Михайлович поставил на газовую плиту чайник, нашел в буфете несколько сухарей и целую пачку сахара и в ожидании, пока закипит чай, закружил по квартире.

Комнаты были большие, но темные. В столовой стояла массивная старинная мебель, сливавшаяся с полумраком — в люстре светила одинокая лампочка. Наиболее обжитое место было в кабинете между письменным столом и диваном. Одежда на стульях, нарастающая изо дня в день стопка газет и журналов на столе.

Николай Михайлович поселился здесь бобылем после смерти отца, больше десяти лет назад, когда поступил в медицинский институт, окончательно порвав с художественным. Валя осталась в Клину, как предполага-

лось тогда, — временно. Они виделись по воскресеньям, иногда — среди недели; вместе проводили отпуск. Но домашний очаг из Клина так и не переместился на Собачью площадку... За десять лет Николай Михайлович не изменил ничего в обстановке.

Чайник вскипел. Николай Михайлович заварил чай в большой кружке, положил побольше сахару, захватил сухари и прошел в кабинет — там привычней, уютней.

Было даже немного странно, что кругом не находилось ни одного предмета, приобретенного им для себя.

Впрочем, портрет темноволосой девочки в красном сарафане, сделанный маслом... «Соученица в юности», — помнится, так сказал он о портрете. Он написал этот портрет с Алеси Долговой в ту пору, когда думал на ней жениться и собирался поступать в архитектурный институт, — летом, накануне войны. У отца в кабинете висела копия мадонны неизвестного художника школы Боттичелли. Свою Алесю он повесил напротив из мальчишеского озорства и не без иронии. Так она и осталась висеть визави с мадонной.

Сейчас, сидя со стаканом чая у круглого стола между двумя картинами, Николай Михайлович думал, что со временем ирония оказалась глубже и тоньше: Алеся сама была теперь мадонной со святым семейством — женой, матерью двоих детей. Мало того, она, которая в те далекие времена лишь смешивала краски да позировала ему, теперь сама стала художницей...

Он подошел к портрету и поморщился от режущей глаз дешевой претенциозности недоучки-живописца. А ведь когда-то портрет казался удачным. Вот именно: когда-то! Теперь — воспоминания...

Это вроде кубиков: сложишь слона — на обратной стороне обязательно получится еж,, и вообще из множества кубиков выходит всего несколько комбинаций.

Все эти годы он на разный манер складывал свои «воспоминания-кубики» и давно знал возможные варианты. В каждом была правда — но как бы не полная. Хотелось ясности, хотелось воскресить и удержать ту девочку — из смутного и счастливого прошлого, а это становилось все труднее.

Николай Михайлович вглядывался в крупные мазки, тщетно стараясь уловить в них живое, но видел только привычное яркое пятно. А была ли девочка? Может быть, девочки-то не было? Он подошел к дивану, лег щекой на жесткую подушку и закрыл глаза, стараясь уснуть, зная, что во сне ближе и уловимее становилось то, что он искал и не мог найти наяву.

II

Им было лет по девять-десять. Стояла поздняя весна. После уроков они часами кувыркались на турнике возле школы. Однажды она повисла на турнике вниз головой. Он крикнул: «Замри!» Она замерла, выжидательно глядя на него. Мимо проходила гардеробщица тетя Маша: «Замучил сестренку! Ишь, тренер нашелся!» Она звонко шлепнула Алесю. Кругом засмеялись. Алеся соскочила с турника только тогда, когда он сказал: «Отомри». Медленно отошла в сторону со вскинутым вверх подбородком и выпяченной губой, подняла с земли портфель и пошла прочь, упруго ступая по мостовой. Он смотрел ей вслед. Она долго, очень долго не оборачивалась. И вдруг посмотрела через плечо. Издали. «Сестренка!»

Дома он внимательно разглядывал себя в зеркале. Разве они с Алесей чем-нибудь похожи? Он вытащил старые мамины фотографии, спрятанные после смерти.

Он знал, что похож на мать. Да, пожалуй, мама и Алеся похожи.

В восьмом классе он был одним из первых учеников, работал в комсомольском комитете, ходил на подготовительные курсы при архитектурном институте, занимался плаванием и лыжами. А она была совсем дикарка, не шепталась с девочками, не плакала, когда получала двойки, — все время молчала.

По комсомольской линии его «прикрепили» к ней в помощь.

— ...Сейчас я тебя представлю, — «по-взрослому» сказала Алеся, когда они в первый раз отправились на Плющиху, в квартиру Долговых, повторять химию. Она повернула ключ, приоткрыла дверь и сразу очутилась в объятиях черно-серой овчарки. Та выжидающе смотрела на незнакомца: какая, дескать, встреча ему причитается?

— Познакомьтесь, — сказала Алеся, дома она держалась куда свободнее, чем в школе, — это Коля Рославлев, а это Анита.

Анита сдержанно-благосклонно вильнула хвостом.

— Видишь, как она приветливо улыбается? — спросила Алеся (Анита стояла, оскалив зубы), — почувствовала, что ты свой. На! — Анита взяла в зубы Алесин портфель и потащил его в комнату.

— Раздевайся — сказала Алеся. — Нравится тебе моя Анитка?

— Очень нравится.

Она — гордая, долго помнит и добро и обиду. Сейчас я тебе покажу, пойдем в комнату.

Алеся позвала Аниту и с укором тихо сказала:

— Ну, как же тебе не стыдно, Анита?

Анита села и несколько раз повернула голову направо и налево.

— И не стыдно? — продолжала Алеся.

Анита полузавыла-полузалаяла и положила обе лапы на плечи Алесе, стараясь заглянуть ей в глаза. Алеся засмеялась:

— Уйди, Анита, это я просто так! Шучу!

Анита понуро вышла из комнаты.

Разложили тетради и учебники, начали заниматься.

— Нет, не могу, — сказала Алеся, — она ведь там сидит и мучится.

Аниты не было ни в коридоре, ни в кухне. Она не шла на зов. Оставался папин кабинет. Когда вошли туда, что-то зашуршало под диваном: это обиженная Анита старалась забиться еще дальше. Из-под дивана торчал самый кончик хвоста.

— Анита, выходи! — Хвост не дрогнул. — Анитка, милая, все прошло, давай помиримся! — Хвост несколько раз вильнул и замер.

— Прости меня, Аниточка, я больше так не буду!

Он никогда не слышал, чтобы Алеся говорила с таким чувством... Вскоре мир был восстановлен.

— Она очень самолюбива и обидчива, — озабоченно говорила Алеся, — но ты только взгляни, какая она красавица!

— Настоящая красавица... Она похожа на тебя, — неожиданно произнес он и смутился.

— Чем? — Алеся обняла Аниту.

— Глаза у вас похожи. Вот сейчас ты смотришь точь-в-точь, как Анита во время фокуса. Потом — осанка... То есть повадка...

Он почувствовал, что краснеет. Алеся тоже покраснела и молчала. Оба гладили Аниту.

Он стал часто бывать на Плющихе. Вместе делать уроки быстрее, да и веселее. Потом он часами разговаривал со старшей сестрой Алеси — Витой. Вита была студентка, красивая, общительная и радушная. Алеся исподлобья глядела на них. Вечером она брала Аниту и

провожала его до дому, а потом он провожал ее обратно. Алеся говорила: «Не понимаю, о чем только вы с Виткой можете болтать так долго...».

Постепенно Алеся стала меньше дичиться его. В школе, выходя к доске, она всякий раз оборачивалась через левое плечо и пристально смотрела на него, ожидая знака. Он шепотом произносил несколько слов, которые никак нельзя было расслышать, но она делалась увереннее и начинала отвечать. Если спотыкалась, он опять неслышно подсказывал, и она выправлялась, говорила дальше. В классе сначала пересмеивались, но потом привыкли и уже не обращали внимания.

Сидя за партой, он подолгу наблюдал за ней. Закрыв глаза, мог представить: круглый затылок, пробор, тугая темная косичка, чудная розовая полоска между ухом и корнями затянутых волос; верхняя часть уха слегка отклонена; подбородок мягкий, четко очерченный; ноздри упругие; нижняя губа выпуклая, резко обведенная, как бы припухшая; и — взгляд, ускользающий вглубь; неожиданно прямые брови... На парте — извечно знакомые пальцы, кругло держащие ручку; ноготь на безымянном был лопаточкой, на остальных — овальные.

Так, вероятно, пришло чувство постижения рисунка. И — гордость первооткрывателя гармонии девичьих черт. Торжественность некоего неведомого чувства крепла.

Он рисовал ее много, жадно — карандашом, углем, красками.

Школьные годы заканчивались. Он определенно решил пойти в архитектурный. Привык слышать о своих способностях. Алеся, глядя на него, тоже начала рисовать. Он и в этом руководил ею. Они мечтали, как будут работать вместе — муж и жена...

Весной сорок второго с борта корабля через Неву он

смотрел на такую близкую и недосягаемую теперь Академию художеств.

Письма начинал так: «Родная моя Алеся...» Правомерность этого обращения была неоспоримой. Алеся его невеста. Была, была у них та счастливая, нелепая и необходимая ночь в пустой квартире на Собачьей площадке, накануне его ухода на фронт. «Родная моя Алеся!» — писал он из госпиталя, торопливо, нежно, привычные и всегда новые, дававшие силу и достоинство, слова... Потянулся к треугольнику: «...Ездили работать в совхоз. Я обгорела и объелась малины, — писала Алеся, — удалось купить «Историю искусств в трех томах. Такая удача! Нам с тобой пригодится, правда?»

В госпитале его подлечили. Снова — в строю. Теперь на Белом море. Теперь ему казалось, что здоровье — дело наживное. Однако, чем дальше, рассеивались иллюзии, приходилось привыкать к такому себе, как есть. У многих после подобной контузии, он знал, начинались припадки. К нему судьба милостива: припадки его миновали. Основным следствием контузии явилась нервная слабость в самых широких пределах — от неоправданной усталости до полного бессилия. Он убеждал себя, это можно скрыть от окружающих. И кто знает, вдруг подействуют укрепляющие средства. Мало ли на свете лекарств?

После Победы возникла уверенность: всем болезням конец.

В сорок шестом году возвращался домой в матросском бушлате, усатый, пропахший махоркой. Все, как и он, смотрели в окна и торопили часы. То и дело затягивали под баян:

...Ты, моряк, красивый сам собою. Тебе от роду двадцать лет....

Был он худ, изможден, хромал. Правая половина лица после контузии как-то помертвела, глаз сузился,

угол рта опустился. Зубы были исковерканы блокадной дистрофией.

Он ехал с уверенностью, что каким бы он ни был, его возвращение — самое большое событие в жизни всех близких.

И он не ошибся.

На вокзале его встречали отец с мачехой и другом-сослуживцем, две тетки со стороны матери, Алеся и школьный товарищ, ставший мастером на заводе.

Знакомый дом на Плющихе... Лестница, звонок... Радостные возгласы и приятный переполох при его появлении. Анна Васильевна, «будущая теща», расцеловала его, как сына.

— К папе зайдем потом, — сказала Алеся, — он болен. Не выходит.

— Сюда, пожалуйста, — взяла его под руку Вита.

Начались бесконечные расспросы.

Почему он задержался на Севере? Разве не всех демобилизуют одновременно? А как с институтом: можно восстановиться или придется поступать заново? Как ему кажется, кто из трех больше переменился за эти годы: мама, Вита, Алеся? Ну, что он так остолбенело уставился на Алесин затылок? Жалко ее кос? Их нет уже давно. Нравится ему Алесина новая юбка, с этими широкими помочами и таким же поясом? Удивительно прочно привились в костюмах военизированные линии.. Ой! Ну, что за чепуха! Конечно, о другом. Но сразу как-то не получается... А почему он пришел в штатском? Кажется, стал еще выше. Так хотелось бы взглянуть на него в полной морской форме. Фотография? Нет, фотографии мало. Вот Петя Авдеев так и не расстается ни с гимнастеркой, ни с галифе. И правильно делает: военная форма всегда ассоциируется с мужественностью. Наконец-то все возвращаются... А Валька Дронов?.. А Сева Кулешов?.. Все помнится и не

забудется. Никогда. В каждой семье пережито горе... У нас папа совсем плох: сердце... Но сегодня не будем о страшном, о грустном. Не надо. Опять вместе! Как хорошо... Он еще не видел Кольку Пустошева? Его теперь зовут «Пуссен»: плодовит, жизнерадостен и явно неравнодушен к завитушкам-барокко — и в своих работах и в выборе предметов увлечения... А северное сияние он видел? А белых медведей? На корабле был медвежонок? Как здорово! А на мачту приходилось забираться?.. Значит, он теперь поднаторел в немецком на курсах переводчиков? Художественный перевод не пробовал? Например, что-нибудь из Гейне... Между прочим, у Виты подобрался замечательный кружок молодых литераторов, правда, не все — литераторы, и не все — молодые... К обеду придет Игорь Задубровский. Кстати, он занимается Томасом Манном, и у него есть свои недурные переводы... А Вита работает над мадам де Лафайет... Не слышал? Но это же так интересно: истоки французского психологического романа... И так далее... Какой-то пестрый ералаш!

Он тщетно искал что-нибудь былое, устоявшее, за что можно было бы уцепиться... Анита?

Собака явно постарела, ходила с опущенным хвостом, тяжело дышала, но его она узнала сразу.

— Смотри, как она рада!— воскликнула Алеся.

Вита вышла помочь матери готовить стол к обеду. Николай и Алеся остались одни. И сразу все лишнее отступило. Прежняя ее, Алесина, мимика, еле уловимое движение плеч, потемневшие глаза...

Через несколько минут он уже твердо знал, что она по-прежнему помнит их язык, понятный лишь двоим. Она та же его Алеся. Ни в этот день, ни после не было с ее стороны кокетства, попыток вызвать его ревность. Она не снисходила до игры и ухищрений. Сразу, без раздумий, вверила ему всю себя — долгожданную, же-

ланную... После разлуки у них не было бурных ласк. И он и она как-то стеснялись друг друга. Годами войны они были отброшены к рубежам семнадцатилетия. Через несколько дней он вполне освоился на Плющихе. Но от чего-то не решался посмотреть Алесины работы. Наконец, как бы ненароком, шутя, спросил:

— Ты не хочешь показать мне свои вещи? Или я вышел из доверия?

— У меня ничего нет, — сказала она.

— Как ничего?

— С бумагой было трудно, да и с красками. Не то, что сейчас. Много выбросила: зачем хранить хлам?

— Покажи то, что есть.

— Пожалуйста, смотри. — Она пожала плечами.

Он начал перебирать куски картона и ватмана. Работ и правда было немного, видимо, лишь курсовые задания.

— Ну и ну! — сказал он. — Ты же теряла время! Чего ждала?

— Тебя ждала, — просто ответила она.

Он опять перебрал ее работы. Внимание привлек этюд, гуашь: памятник Пушкину на фоне серенького предвесеннего неба, рыхлый снег и яркое — синее с красным — пятно: ребенок с салазками — рядом.

— Гуашь у тебя удачнее.

— Да, — кивнула она.

Он видел новые сюжеты, разные материалы, — чувствовалась «школа». Однако в работах было несколько «отправных точек», вокруг которых могло вертеться что и как угодно. Эти точки в ее восприятии, вкусе, видении были «застолблены» им. Он почувствовал неизъяснимое ликование. Ее работы — а он-то их боялся! — несли в себе свидетельство ее беспредельной верности.

С первых же дней пребывания в Москве — куда бы

ни обратился — он повсюду встречал моральную поддержку. Он знал, что похожий «кредит» получают многие, кто вернулся с войны. И он считал это естественным.

«Отвоевавший свое и побывавший в госпитале солдат получил причитающийся ему льготный «паек», — шутил он. В этот «паек» входили: заботы родителей по его бытоустройству и лечению, красавица-невеста, зачисление на второй курс художественного института и многое другое.

Он залпом сделал те несколько работ, которые полагалось представить для конкурса в институт. Вложил в них и неизрасходованную непосредственность своих восемнадцати лет, когда был вынужденно оторван от карандаша, кисти и красок, и выношенное, выстраданное.

Работы были приняты, удостоены похвал, а сам он — условно зачислен на второй курс. В актовом зале института, среди лучших студенческих работ, висела и «Береза в лунном свете» — акварель, с подписью «Н. Рославлев».

Приятелей у него хватало, но друзей не было. Из институтских самыми близкими оказались Петр Авдеев и Колька Пустошев, по прозвищу «Пуссен». Петр Авдеев потерял ногу в первом своем бою. После госпиталя вернулся в институт. Пустошев не попал в армию из-за порока сердца. Авдеев и «Пуссен», как и некоторые другие сверстники, однокашники по студии при Доме пионеров, продолжали считать его ровней и даже впереди себя, несмотря на то, что уже заканчивали институт. Ученичество в этой компании кончалось. Начинались заботы зрелого возраста: договоры с издательствами, участие в выставках, хлопоты об индивидуальных мастерских и прочее. Многие были уже самостоятельны в своих заработках, имели заказы. Успели обзавестись семьями. Он тоже попробовал подработать. Но, прово-

зившись с простенькой обложкой для учебника, запустил занятия в институте и понял, что совместительство ему не под силу.

Он много раз задавал себе вопрос, замечает ли Алеся его слабосилие, его болезнь. Все факты были ей известны в подробностях. Но одно дело — знать... Она прикасалась к его ранам то нежно-целительно, то капризно и своевольно. Детское непонимание, детские выходки — они вызывали досаду, а порой трогали до глубины. Но ведь когда-нибудь ее неведение кончится...

Учеба продолжалась. Что-то получалось, но были и «хвосты». Поначалу он не представлял, как будет учиться по индивидуальной программе. Не удивился, когда вышла заминка с «перспективой», но когда не заладилась композиция, раньше удававшаяся без труда, призадумался. Работать стал медленнее, не раз удачно начав вещь, к концу запарывал ее.

Изрядно пришлось потрудиться над эскизами с обнаженной натуры. Натурщиком в мастерской был Санька Гузеев. Санька почитал себя творческой личностью, временно вынужденной по материальным соображениям заниматься неподходящим трудом. Санька намекал, что такая система дает ему возможность писать сценарий, на который он возлагал большие надежды. Пока же он «установил связь с «Мосфильмом», предложив изобразить труп на съемках батального эпизода.

С голой Санькиной спиной получился неожиданный затор. Работа как-то не задалась с самого начала. Оставить бы ее, хотя бы на время, а потом начать заново. Но он упрямо продолжал вымучивать первый эскиз.

— Хочешь, поработаем вместе? — предложил Колька Пустошев. — За компанию всегда легче, да и мне польза: у меня с обнаженной вечно нелады получались...

Он отказался.

— Может быть, поговорить в деканате, чтобы тебе перенесли работу на осень? Подлечишься, подбодришься... — закинул удочку Авдеев.

— Нет. Если я не сделаю ее сейчас, то не сделаю и осенью.

Вместе с ним работал над натурой студент по имени Лева Померанс. Дело у него тоже не ладилось. Как-то вечером Лева сказал:

— Тебе-то, собственно, что тревожиться? Тебе все равно зачтут...

— Тогда и тебе тоже: твоя не хуже.

— Дело не в этом, — загадочно сказал Померанс. — Преподаватели руководствуются не качеством работы, а тем, чья она. Тебе зачтут наверняка, вот увидишь... Через несколько дней я явлюсь на просмотр с этой же работой и выдам ее за свою, к тому времени забудется, что она твоя, меня с такой работой прогонят. Давай на спор.

В предложении Померанса было что-то грязное. Но бес, давно уже нашептывающий Николаю, что он существует в числе студентов только благодаря фронтовому прошлому, толкнул его согласиться на этот эксперимент. Свидетелем спора был Санька Гузеев, который получал от проигравшего бутылку коньяка.

С тяжелым сердцем понес он санькину «спину» на общий суд. «Обнаженную» приняли молча. Через несколько дней на просмотр явился Лева. Забраковали.

— Коньяк вовсе необязательно, — смущенно и задумчиво потупился Санька, — вот, если бы вы могли...

— Что?

— Поставить свое имя рядом с моим... ну, на сценарии. Только имя. И снести в редакцию. Первое впечатление от автора очень важно... Что вам стоит? А гонорар... можно поговорить и о гонораре...

— Саня, — сказал он медленно, с трудом сдерживая

гнев, — ты слышал, что при нанесении телесных повреждений травматика могут признать невменяемым? — Он подошел к Саньке, сжав кулаки.

Псих! Ненормальный! А еще в институте с ним нянчатся!..

Николай продолжал по привычке руководить Алесей, но уже не мог не чувствовать — она переросла его как художник...

Вопрос о том, чтобы вовремя отказаться от притязаний, впервые встал перед ним со всей остротой.

Прошли зимняя сессия и каникулы. Конечно, можно было продлить условное пребывание в студентах, получить переэкзаменовку, подтянуть хвосты, даже остаться на второй год... Врачи дали бы справку для академического отпуска. Можно было продолжать и прежний курс на супружество, форсировать свадьбу или еще походить в женихах — в уверенности, что Алеся и оба семейства, Рославлевых и Долговых, примут любой исходящий от него вариант. Примут, поддержат, помогут... Но вышло не так

Сомнения одолевали его. Пора, дескать, кончать возню, развернувшуюся вокруг его особы, она вот-вот станет мучительной для всех, кто имеет с ним дело.

Бросить институт, оставить Алесю, родных и — с глаз долой, из сердца вон! Не дожидаться неизбежной развязки! Чем скорее, тем лучше. И сделать это по собственному выбору. Это единственно достойный и приемлемый путь.

Решил уехать из Москвы. Две его тетки по материнской линии жили в Клину. У них можно найти временное пристанище, не вдаваясь в долгие объяснения.

Была ранняя весна сорок седьмого года. Алеся и Николай с утра ходили по улицам. Было ясно. Тротуары уже просохли, выветрились, девочки играли в классики.

Они шли вдоль бульвара, потом переулками, по Са-

довой, опять вдоль бульвара. Вот уже и девочки перестали прыгать на тротуарах. Наступали сумерки, люди возвращались домой после работы. Алеся опиралась на его руку и переступала по камням вдоль края мостовой, как любила ходить в детстве. А он знал, что идет рядом в последний раз, и все думал, догадывается ли она об этом. Наконец остановились у троллейбусной остановки. Стемнело. Алеся была в легком пальто и без шапки. Он спросил, не замерзла ли. Она тряхнула темными, стрижеными волосами. Подъехал троллейбус.

— Ну, пора! — сказал он.

Но она замешкалась. Подошел второй троллейбус. Она протянула Николаю руку и... опять осталась. Прошло несколько минут, у остановки собралась очередь, вновь подкатил троллейбус.

Она посмотрела на него беспокойно. Сделала движение к троллейбусу. Он круто повернулся и пошел прочь, ускоряя шаг, на углу оглянулся: она стояла на остановке в стороне от толпы и смотрела ему вслед. Полу темно-синего пальто откинуло ветром.

В тот же вечер он уехал в Клин с намерением никогда больше не возвращаться в Москву.

III

За ночь подморозило. Выпавший накануне сухой снег лежал тонким слоем, Николай Михайлович шел на работу средним шагом по привычному пути. Думал о ночном происшествии в операционной...

От хирургии — теперь ему кажется — он отказался еще вчера ночью, когда этот «кафедральный молодчик» Прокапюк так недоуменно (именно недоуменно, а не с порицанием) произнес: «Вы-то здесь зачем, Николай Михайлович?». В самом деле, зачем?

В студенческие годы, переходя с одной кафедры на другую, в ускоренном темпе сдавая зачет за зачетом, он как-то не успел почувствовать «вкуса» к хирургии. С удовлетворением принял предложенную ему при распределении должность заведующего приемным покоем одной из московских больниц. Должность была ответственная, для выпускника — почетная. Он с рвением взялся за дело. На первом году работы его направили на специализацию в хирургическое отделение. Вот тогда-то в один прекрасный день он понял, что без хирургии ему не жить.

— Не сомневаюсь, эти навыки весьма пригодятся вам на практике, — сказал главврач. — А теперь возвращайтесь на свой пост, вас ждут с нетерпением.

Рославлев промолчал в ответ. Он-то наивно думал, что для него после специализации открыт путь в хирургическую клинику, даже собирался спросить о сроках перехода, однако покинуть приемный покой так и не удалось.

Года три назад сменилось руководство на кафедре хирургии, располагавшейся на базе отделения. Ждали нового заведущего — Ивана Алексеевича Полосухина.

— Штат кафедры расширяется. Иван Алексеевич ищет ординатора из числа сотрудников больницы, — сказала ему тогда дама-доцент, пригласив в пока пустующий кабинет профессора. Вас рекомендует Осип Петрович Немцов. Вы, кажется, проходили у него специализацию? Как бы Вы отнеслись к подобной перспективе? — Помощница Полосухина ждала ответа и машинально украшала чернильными загогулинами лежащий под рукой листок с перечнем фамилий.

«Наметила список кандидатов, я один из них!» — догадался он и ответил отказом.

«Глупо... Ах, как глупо!.. Подумаешь, гордо отвернулся! Мальчишество!».

Повторного предложения не последовало. Претендентов было в избытке.

В глазах сослуживцев он был в приемном покое вполне на своем месте. Если поступал хирургический больной, Рославлев принимал его лично и направлял в хирургическую клинику. Для обследования больных другого профиля он мог приглашать специалистов-консультантов из отделений. Помимо непосредственного приема больных дни были загружены организационными и административными делами. Но бросить операционную совсем он не мог. Он продолжал навещать ее украдкой; в основном, во время ночных дежурств, когда врачам нередко требовалась подмога. В последние полгода нашлось регулярное пристанище: он попросил врача хирургического отделения Антонину Клокову разрешить ему «без официальных оформлений» оперировать вместе с ней. На участие в операциях, как врач, прошедший специальную подготовку, он имел полное моральное право. Почему он не хочет реализовать это право включением в общее штатное расписание, Антонина не поинтересовалась. Не спрашивала и о том, зачем ему вообще вдруг понадобилось оперировать сверхурочно, да еще по ночам, когда в его «собственном» приемном покое дел по горло. Разве могло прийти ей в голову, что он — заведующий отделением, распоряжающийся целым штатом сотрудников, — завидует ей, простому ординатору? А это было именно так. В операционной она была хозяйкой, оперировала по обязанности, тогда как он, «гость» — из прихоти.

Он мало знал об Антонине и она, по-видимому, так же мало знала о нем. Но оба помнили, что в юности он был матросом на Балтике, а она — военфельдшером комсомольского авиаполка. Безошибочным чутьем ориентируясь на верность фронтовому братству, он выбрал Антонину для своих «полулегальных» занятий в опера-

ционной. За хирургическим столом она общалась с ним как с ровней, хотя опытней была лет на десять. До последнего дежурства все шло гладко, но вчера ночью Рославлева «засек» сотрудник кафедры хирургии.

Была долгая и трудная операция с неожиданным осложнением. Антонина растерялась, и он сам распорядился вызвать доцента Прокапюка, который жил в общежитии на территории клиники. Прокапюк явился, щурясь на яркий свет, понимающе хмыкнул, засучил рукава, пошел мыть руки и, обернувшись, звонко спросил: «Вы-то здесь зачем, Николай Михайлович?». Операцию закончили благополучно.

Во что выльется нынешний ночной инцидент? Заведующий кафедрой Полосухин вряд ли примет участие в разбирательстве — слишком большая персона, ученый, хирург первой величины. Скорее всего, ограничатся «больничным уровнем»: Осип Петрович Немцов пожурит Антонину у себя в кабинете. Может быть, скажут пару слов на производственном совещании...

Итак, окончательный отказ от оперирования... А ведь когда-то он упивался самоотречением. Теперь же было просто стыдно. Стыдно перед самим собой.

На больничном дворе подъезды к корпусам были очищены от снега, но на газонах и между деревьями он лежал нетронутой белой пеленой, подновленной за ночь. Николай Михайлович ускорил шаг. Довольно — пора работать.

Николай Михайлович открыл дверь в кабинет, сказал общее «здравствуйте» и уже по тому, как санитарка Мария Никитична выдавала ему свежий халат и строго наказывала, чтобы он не спутал этот халат с другими, а сестра Зоя Михайловна со спокойной торжественностью представляла для проверки список движения больных, он понял, что все в порядке, все на своих местах и все готово к работе.

— Ну, начинаем прием. Есть больные?

— На минутку! — заглянула в кабинет Антонина Клокова. Он понял, что Антонина хочет поговорить с ним наедине, и вышел в коридор.

— Ну? — спросил он и, вынув папиросы, знаком предложил собеседнице закурить тоже.

— Все в порядке. — Антонина прикурила от его зажигалки, кивнула.

— А именно?

— Мир не без добрых душ. Думала я, гадала, как придержать рапорт Прокапюка о нашем с тобой нарушении... К самому Володьке обращаться опасно: то он — душа-человек, а то и съязвит, так, что не поздоровится. Вдруг осенило: пойду к Светлане Саниной. Знаешь Светлану Санину? — Антонина подмигнула.

— Первый раз слышу, — сказал Николай Михайлович.

— Вот тебе раз! Ходишь на хирургию и не знаешь Светлану? Не поверю.

— Твое дело... Ну, дальше.

— Света Санина — аспирантка второго года. Очень милая девочка, да ты наверняка ее знаешь в лицо: блондинка, красивая такая, полная...

— Все вы красивые.

— Спасибо. Так вот, на кафедре хирургии у нас есть принц из сказки Шехерезады — Рашид Ходжаев и царевна-лебедь — Светлана Санина. Правда, оба уже заняты: у Рашида — невеста в Узбекистане, а Светлана нашла свое счастье в лице интересующего нас в данный момент доцента Прокапюка. Понимаешь?

— Еще не совсем: перензбыток информации.

— Прокапюк подчиняется ей безоговорочно. Продолжать?

— Ну?

— Ну, я — к Светлане.

— А она?

— А она в ответ так строго, серьезно — артистка да и только! Я, говорит, уже видела на столе у Володи несколько отпечатанных жалоб: одна — главврачу, другая — заведующему кафедрой, копия — в горздрав, копия — в министерство, и так далее, а сама смеется, ну я и поняла, что никаких рапортов нет и не будет. Прокапюк не собирался писать. В общем, все хорошо, что хорошо кончается. Кстати, Света тебя знает.

— Откуда?

— От студентов. Ты ходишь у студентов под кличкой «Монте-Кристо».

— Ах, как романтично!

— Ну как же. Моряк в прошлом, бледность, загадочность, благородная осанка... Словом, Ваше сиятельство, все улажено. Первым хирургом тебя больше не поставлю, а ассистировать можешь, сколько душеньке угодно. В среду приходи на дежурство. Договорились?

— Договорились.

Качнулся маятник туда и назад. Вчера легко отказался, сегодня — легко согласился. «Ассистируй, сколько душе угодно!» Ему бы радоваться, а у него испортилось настроение.

На улице горели фонари, светились витрины, разноцветные рекламы. Шел снег, то мелкий и редкий, то с порывами ветра — крупными хлопьями.

Николай Михайлович зашел в галантерею, выбрал подарок-набор, упакованный в коробку с лентами, замшевая театральная сумочка, косметическая мелочь. Теперь на почту. Он прикинул, что ему вряд ли удастся выбраться в Клин в ближайшие дни, надежнее послать бандероль.

На почте в очереди Николай Михайлович разглядывал образцы поздравительных открыток, прочел

две-три фамилии авторов, так можно наткнуться, чего доброго, и на художницу А. Глазырину. Он знал, что Алеся работает по договорам с разными издательствами и делает нечто подобное, но за эти годы не видел ни одной ее работы!

— ...С доставкой на дом, пожалуйста! — Николай Михайлович передал в окошко бандероль с описью и смотрел, как карандаш почтовой служащей быстро движется вдоль написанных строк. Чем-то эта девушка напомнила ему Валю: наклоном головы, прямыми русыми волосами, этим профессиональным, похожим на учительское, движением карандаша...

...Впервые он увидел Валю, когда она, как завуч Клинской средней школы, принимала его в сорок седьмом году на работу. Она прочитала и отложила в сторону его заявление, в котором он просил зачислить его в качестве преподавателя черчения и рисования, и с карандашом в руке занялась анкетой:

— Разве у Вас нет специального образования?

— Я поступил в архитектурный в сорок первом году. После демобилизации учился в художественном, но не доучился.

— Надо написать: незаконченное высшее.

— Я кончил неполных два курса.

Объяснил, что приехал в Клин из Москвы, оставив институт, в котором ему было трудно продолжать учебу по состоянию здоровья.

— Вы инвалид войны?

Этого он не писал в анкете, и еще никто до сих пор так прямо не спрашивал об этом.

— Да, — сказал он. Сказал так же просто, как она спросила.

Она кивнула.

— Сейчас черчение становится очень важным предметом. Большинство выпускников идет в технические

вузы. В нашей школе оно хромало: преподаватель был старичок, отстал от современных требований. Вы сумеете наладить дело?

— Постараюсь, — усмехнулся Николай Михайлович.

— Почему Вы смеетесь? Разве это не серьезно?

— Очень даже серьезно.

— Перед началом занятий приходите на заседание педсовета.

Она держалась со спокойным достоинством женщины, вступившей в зрелый возраст. Смотрела прямо, ходила неторопливо и размеренно, как будто лишила себя права на поспешность.

— Она учительница, и этим все сказано, — поведал он вечером тетке, давая отчет о своих делах за день, — и имя у нее вполне учительское: Валентина Васильевна.

Оказалось, что тетка знает ее с детства. Валя была ее ученицей. Валин муж тоже был теткиным учеником. Он погиб на фронте в сорок первом. Теперь Валя одна воспитывает сына.

— Очень любила его, — сказала тетка. — Такие, как она, хранят верность всю жизнь.

— Неужели? — усмехнулся Рославлев. — Всю жизнь — слишком долго. Впрочем, это вероятно, не так уж трудно в педагогическом коллективе Клинской средней школы. У вас сколько учителей-мужчин?

— Стыдно тебе! — сказала тетка.

Но ему не было стыдно. У него руки чесались продолжить то самобичевание, которое начал в Москве. Вдобавок, невесть откуда появилось желание проверить, так сказать, на прочность этот эталон верности.

Получил письмо от отца, нежное, ласковое. Отец писал, что они, родители, ждут его возвращения, но не торопят, может быть, для него и вправду лучше отдохнуть. Одновременно пришел денежный перевод теткам и письмо, которого он не читал, но не мог не догадаться,

что там содержалась просьба создать ему бытовые удобства и не расспрашивать, не ранить самолюбия. Товарищи по курсу тоже писали, одобряли, напоминали о льготах, которыми можно воспользоваться для восстановления в институте. Возмущения его бегством не было, активного зова обратно — тоже. Об Алесе никто не упоминал.

...В то лето по ночам его мучили кошмары: Алеся искала его, была где-то рядом, как слепая, ощупывала окружающие предметы, звала, прислушивалась. Ему нужно было спрятаться, но убежать не хватало сил. Недужное тело покрывалось потом, сводило мышцы.

Просыпаясь, он встречал беспокойные взгляды тетки. Она не будила его, не торопила вставать... Он прикрывал отяжелевшими веками глаза, в которых стояли слезы, и вспоминал свои видения. Врач посоветовал усилить дозу противосудорожных и снотворных средств.

Писем от Алеси не было. Его не раз тянуло в Москву, но он тотчас разубеждал себя: она молодая, красивая, здоровая, талантливая. Ей все дано и перед ней все открыто. Зачем портить ей жизнь... Все забудется, непременно забудется... Разве его устранение было случайным? Тысячу раз нет! А теперь надо вытерпеть. Время, время, время...

...Гости на свадьбе были почти все учителя, и, наверное, поэтому свадебное застолье походило чем-то на педсовет. На Вале, как и полагается, было нарядное платье с подложенными, модными тогда, квадратными «плечиками». Ее шея была непривычно обнажена и оттого казалась слишком тонкой и длинной. У ворота красовалась приколотая хризантема. По коже у нее пошли мурашки, как от холода, хотя на щеках проступили красные пятна. Когда он наклонялся к ней, чтобы в очередной раз поцеловать, то чувствовал приторный запах «Белой сирени». Запах усиливался, когда Валя

перегибалась через стол к сынишке, чтобы поправить ему завернувшийся воротник или положить чего-нибудь вкусного на тарелку.

— Юрик! Что же ты не поцелуешь своего нового папочку? — всхлипнула географичка.

Мальчик растерянно посмотрел на мать.

— Юрин папа погиб на войне. Другого папы у Юры нет и не может быть, — медленно произнесла Валя. — Но с дядей Колей они будут друзьями.

Рославлев сжал влажную руку Вали. Ему стало стыдно. В первый раз за полгода. Хотелось просить прощения, доказать, что не такой уж он отпетый эгоист и ханжа.

Гости разошлись за полночь. Валя вооружилась полотенцами, тряпками, принесла таз. Большая комната, как и посуда, была на время предоставлена в распоряжение молодоженов старушкой, хозяйкой домика, в котором жила Валя. Надлежало, не мешкая, вернуть все в целости и сохранности. Юра давно спал в маленькой Валиной комнате. Проветривали, раскрыв настежь окна. Он постоял на сквозняке. Было зябко, Валя — уже не в белом платье, а в старом домашнем халатике — казалась совсем худой и меньше ростом.

Он смотрел на нее и вспоминал свои полунадуманные чувства, грубоватую любовную атаку... То, что еще недавно он ухарски ставил себе в заслугу, сейчас жгло, как раскаленное железо... А Валя? Она не упрекала. В том и было ее целомудрие: она верила ему, ждала...

— На! Вытирай! — Валя вручила ему полотенце и звенящую массу мокрых вилок и ножей.

Дальше, конечно, все будет иначе... Но ведь и сейчас он не может сказать, что она заменит Алесю. И никогда не сможет. Как же быть?

— Валя! — он сдернул полотенце с плеча. — Я

должен сказать тебе, — только не думай, что я рисуюсь, — я вел себя низко. Все это время.

Груда чашек в ее руках звякнула.

— Дядя Коля! — неожиданно выскочил на хозяйскую половину Юрка, — босой, в одной рубашке — и зажмурился от яркого света.

— Ты еще не спишь? — Валя быстро поставила чашки на стол и обняла сына. — Что случилось?

— Дядя Коля... — Юрка обеими руками уцепился за его ремень, глядел на него снизу вверх. — А вы научите меня взбираться по канату? Как на корабле?

— Конечно, научу.

— Как?

— А вот попросим у мамы самую крепкую веревку. На крыше сарая я видел выступ. Закрепим за него. Сделаем узлы... Что-нибудь сочиним!

— Завтра? — Юра улыбнулся.

— Завтра.

Было неловко возвращаться к прерванному объяснению.

— Ты понимаешь, я хочу сказать...

— Понимаю.

— Что же ты понимаешь?

Валя опустилась на стул, ответила не сразу:

— У нас был один мальчик, бросил школу, потому что ему натягивали отметки. Не хотел поблажек за погибшего отца, вот и ушел из девятого класса в ремесленное. Так и ты... — Валя выпрямилась. — Все потому, что ты очень честный.

— Это я-то честный?

— Конечно. Только многое усложняешь, накручиваешь. Видишь одного себя — по-мальчишески. И судишь одного себя. — Она потянулась к мокрому посудному полотенцу и расправила его.— А скажи-ка мне: «Ишь, ловкачка, подцепила москвича, профессор-

ского сынка»... Смеешься? Или представь, я начала бы плакать: Коля, ты мой Коля, загубила я тебя — молодого, талантливого, повисла гирей на шее. Я старше тебя... Что молчишь?.. Посыпь-ка соли на винные пятна. — Она передала ему солонку. Он увидел, как ее руки сжали спинку стула. — Не будем об этом. Устала. И ты устал,— Валя оглянулась вокруг,— кажется, все чисто. Пойдем в наши покои.— Она потушила свет.

В домике, у стен которого зимой лежали сугробы, а летом цвели золотые шары, они пытались наладить свое скромное семейное счастье. То, что сложилось между ними троими: Валей, Юрой и Рославлевым, никоим образом не напоминало вариант, о котором он когда-то мечтал с Алесей.

В конце первой клинской зимы к ним приехал Колька Пуссен погостить и покататься на лыжах.

Держался Колька непринужденно, как будто они только вчера расстались. Среди прочих московских новостей Колька рассказал о замужестве Алеси. «Не то, физик, не то математик, — говорил Колька об Алесином муже, — словом, нечто шибко абстрактное, научное. Зовут Вадим Глазырин. Не знаю, какими это судьбами она на него набрела. Этакий богатырь-сибиряк! А Павел Александрович умер еще летом: не дожил до свадьбы».

Вечером он шел с полными ведрами от колодца, ступая по кирпичам или дощечкам, которые они с Юрой положили через лужи. Ведра побрякивали в такт шагам, и ему хотелось, чтобы этот путь длился дольше, домой совершенно не тянуло. Он говорил себе, что в сущности ничего не изменилось, Валя никогда его не расспрашивала о прошлом, значит, он ее не обманывал, его жизнь, теперь ничем не связана с Москвой и Алесей. Вышла замуж — того и следовало ожидать.

Он поставил ведра в кухне на скамейку, сел на табурет в углу. Колька Пуссен и Юра натирали мазью лыжи

и обсуждали завтрашний маршрут. Он знал, что неудобно сидеть вот так молча, но ничего не мог с собой поделать. Валя спросила, не болит ли у него голова. Может быть, радио мешает? Что? Ах, да, да... «Бьется с неравною силой гордый красавец «Варяг»...» — тянул хор. «На, прими» — протянула она Рославлеву пирамидон. «Спасибо». — Он послушно положил на язык таблетку и глотнул из кружки холодной воды.

Весной он опять попробовал рисовать, когда никого не было дома. Вот уже больше года он не держал в руках карандаш и не смешивал красок. Разве что на уроках.

Он знал, что нарушает зарок. Таясь от самого себя, сделал несколько набросков, небрежно, непоследовательно, как бы помимо своей воли.

Валя нашла его рисунки.

— Ты скучаешь, — сказала она, — скажи, зачем ты сам себя заточил в монастырь?

Он молчал.

— Тебе надо продолжать учиться.

— Глупости. Ты не понимаешь ничего. Никуда я отсюда не уеду. Он перестал рисовать. Прошли лето, осень, и зима, прежде чем похожий разговор возобновился.

Зимой он болел и лежал у стены на диване. На противоположной стене висела фотография Валиного мужа. Невольно за долгие часы лежания он изучил портрет. Валя стояла рядом, делала Рославлеву примочки и уколы, давала лекарства.

Теперь он ясно видел, что она и вправду была эталоном верности.

Когда она среди ночи вставала, чтобы сделать ему укол, который вполне можно было сделать и утром, она как бы отдавала некую дань — и не только ему, теперешнему Рославлеву, полунемощному, полукаприз-

ному, — но и тому израненному мальчику каким он был в госпитале, погибшему мужу, и всем другим, кого опалила или забрала война.

В конце второй клинской зимы к ним нагрянули из Москвы его приятели. За эти два года они кое-чего добились. Шли разговоры о том, как работать. Судили смело, рубили с плеча, не без того, чтоб не похвалиться. Каждый рассказывал о своих планах. Говорили про удачные работы «Пуссена» в Агитплакате, о том, что Авдеев готовит серию «Города-герои», а Хабибулин «разродился триптихом». Курили, шумели, пили за успех предстоящей выставки, уговаривали и его принять в ней участие: «...что-нибудь подыщешь. У тебя ведь целы эскизы с фронтовыми сюжетами? Подработаешь и в дело!».

— Поезжай в Москву на школьные каникулы, — предложила Валя, когда гости уехали, — проведаешь своих, повидаешься со знакомыми, развеешься, — сказала безапелляционно. Так только она одна и умела.

— Один пишем, пять в уме! — отозвался он. Ведь ты думаешь про институт?

— Да. И про выставку.

— Тогда ты тоже переедешь в Москву. И Юрка.

— Посмотрим,

— Юрка говорит: «Если мама сказала «посмотрим», значит «нет».

— Он так говорит? — улыбнулась Валя.

Весной скоропостижно умер отец. Мачеха перебралась в семью дочери. Он возвратился в Москву — в опустевшее родное гнездо на Собачей площадке — и осенью поступил в медицинский.

В Клин наведывался по выходным и на праздники.

Валя обещала переехать к нему, как только Юра закончит семилетку. Семилетку Юра закончил, поступил в строительный техникум в Москве, жил у него. Валя

задержалась: нельзя было бросить пост исполняющей обязанности директора.

Три года они жили с Юрой вдвоем, оба учились. Валя наблюдала за ними, давала руководящие указания. Потом Юра уехал по комсомольской путевке в Сибирь. Валя к этому времени сдала бразды правления новому школьному начальству. Было решено, что она переберется в Москву к концу учебного года — не то пятьдесят пятого, не то пятьдесят шестого. Но тут занемогла престарелая родственница — хозяйка их клинского домика. Оставить ее одну было невозможно, а поменять насиженное место на чужую городскую квартиру старушка наотрез отказалась.

Нынешней зимой старушка умерла. Скоро опять кончается очередной учебный год, но о том, чтобы, наконец, распроститься с Клином, — ни звука.

IV

— Садитесь, пожалуйста, — Осип Петрович взял у Николая Михайловича журнал поступлений и выписки больных, пригладил усы и, открыв наугад страницу, стал читать столбцы цифр, держа журнал в вытянутой руке.

«Постарел»,— подумал Николай Михайлович.

— Это данные за прошлый месяц. Март дальше, — Николай Михайлович видел, что Старик смотрит не туда, и хотел помочь ему сориентироваться.

— Знаю.

Во вторую терапию приняли двух иноперабельных больных? — спросил Осип Петрович.

— Да. Пришлось...

«Как это Старик сразу ухватил? Ну и нюх!»

Осип Петрович отложил журнал в сторону.

— Ну, а как ваше житье-бытье?

— Так. С грехом пополам.

— М-мм... с грехом? Слыхал про ваши прогулки в операционную. Что сие значит?

— Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?— усмехнулся Николай Михайлович.— Что ж, я изменю маршрут.

— «Изменю маршрут»! — передразнил Осип Петрович. — Ишь, какой быстрый! Постой, постой, не так лихо на поворотах. — Видимо, Старику было мало пожурить его, хотелось вынести какое-то обобщенное назидание, на которое давали ему право долгий опыт и долгая жизнь.— Сколько лет вы работаете у нас в приемном?

— Пять с половиной.

— Привыкли?

— Привык.

— Вот именно. Скоро привыкните окончательно. Станете недурным специалистом по экскренной диагностике, поднатореете в административных делах... В приемном вы работаете хорошо, спору нет. Вы удовлетворены?

Прямой вопрос. Трудно отвечать на прямые вопросы.

— Вполне.

Правая бровь Осипа Петровича поползла вверх, он хмыкнул с присвистом, будто взял понюшку табаку.

— Так-так-так... Три года тому назад вы почему-то не пожелали перейти на кафедру Полосухина. А сейчас? Хотите быть хирургом?

— Хирургом? Я? М-мм, это зависит...

— Это зависит от вас, но не только от вас. Скажите, что вы делаете по хирургии?

— Я был несколько месяцев на рабочем месте у вас в отделении.

— Помню. Вы хорошо держите скальпель. Кажется, я еще поинтересовался, не приходилось ли вам орудо-

вать грабштихелем. У вас тонкая моторика ювелира или гравера... Что-то было у вас в этом роде?

— Да, было. Давно.

— Что же сейчас? По хирургии, разумеется?

— Бываю на операциях. Случается, замещаю врачей на дежурствах.

— Врачей?.. Или Клокову?

— Клокову.

— Часто это случается?

— Иногда.

— Еще?

— Кое-что читаю. Хожу на общество.

— Тоже иногда?

— Да.

— Все?

— Все.

— Это забава. Да и ту вы оставите. Чуть раньше, чуть позже — значения не имеет.— Осип Петрович фыркнул. — Не исключаю, что через несколько лет будете бить себя кулаками в грудь и оправдываться. Да что вы словно окаменели? Говорите! Возражайте!

Николай Михайлович молчал. Ему было неуютно.

Осип Петрович повозился в ящике стола и протянул небольшой пакетик.

— Хотите ментоловую пастилку? Апробирую для замены курева. Помогает.

Николай Михайлович сделал отрицательный жест.

— Ну, предположим, вы будете продолжать свое подполье за спиной Клоковой, — Старик причмокивал, посасывая мятный леденец. — Топтание на месте — в лучшем случае. Бросите при первой же серьезной неудаче.

Николай Михайлович двинулся в кресле.

— Что? Хотите сказать, что уже бросили? Или бросите немедленно? — Осип Петрович иронически кивнул.

— Верю! Момент подходящий! Пока вы оперировали удачно, и возникли только досадные формальные неполадки. Лучший повод для расставания. Нну-с? Что же вы не откланиваетесь? Чего ждете? Почему не отвечаете на мои бесцеремонные выпады? Сдерживаетесь из почтения к «Старику»? — Осип Петрович проглотил надоевшую конфету. — Ладно. Пожурил вас, кажется, достаточно. К делу. Вам надо бросить приемный покой и начать все сначала. Сейчас вы хирург, — по кадровой номенклатуре. Переходите на хирургию серьезно. Попробуйте измерить свои возможности общими мерками. Вместе с другими и рядом с другими. Вам трудно оценить свои силы, но я видел, как вы оперируете. Я кое-что в этом смыслю. Из вас может выйти толк, — Осип Петрович посмотрел испытующе, — но необходим регулярный труд. Будут удачи, будут и срывы. Посмотрим равнодействующую и решим, нужны ли вы хирургии. Не хватит пороху? Все равно надо выдать свой максимум, даже если он и окажется ниже желаемого. Итак, — Немцов заговорил четко, раздельно, будто диктовал письмо, — лучше всего вам перейти на кафедру. Поступайте в аспирантуру.

— Мне тридцать восемь, — хмуро напомнил Рославлев.

— А мне семьдесят три, и я до сих пор жалею, что не занялся в свое время наукой. Вы знаете кого-нибудь на кафедре?

— Аванесова. Других только в лицо.

— Аванесов — один из кафедральных столпов...

— Он не в курсе моих хирургических занятий.

— Как это вы ухитрились так притаиться? Хорошо. Я дам вам рекомендацию или что так еще нужно для аспирантуры, переговорю с Иваном Алексеевичем. Его согласие беру на себя. А пока милости прошу к нам в отделение. На полставки. Будете в системе больницы,

но ближе к кафедре. Присмотритесь. Идет? С возрастом для аспирантуры как-нибудь уладим. Сколько? Тридцать восемь?.. Позвольте, — Осип Петрович что-то прикинул в уме, — так вы были на фронте?.. Ранения? Контузии?

Николай Михайлович слегка кивнул, как бы намекая — не надо об этом.

— Попробуем сказать вслух трудное, — Осип Петрович уже не диктовал, а размышлял. — У вас реальные опасения, что здоровье может подвести... В то же время вы заранее отвергаете какие-бы то ни было скидки и льготы, которые пристало иметь ветерану... Вы боитесь таких скидок. Потому-то у вас и получается или подполье или уход. Ясно, но вы не сделаете третьего: не заявите своих прав открыто, напористо. Н-да... Одних рекомендаций здесь мало. Нужны средства посильнее.

Зазвонил телефон. Осип Петрович снял трубку. По разговору было понятно, что звонили из дому.

Николай Михайлович поднялся с места и хотел выйти, но Осип Петрович знаком удержал его. Николай Михайлович слушал, как Старик оправдывается, что не достал каких-то лекарств.

— Вот. Всю жизнь ратовал за активные методы, а домашние все еще предпочитают гомеопатию, — пожаловался Осип Петрович. Он замолчал и в раздумье теребил усы. Николай Михайлович тоже молчал.

— Да, так что же вы?

— Вряд ли я могу бросить приемный покой, — устало, упрямо сказал Николай Михайлович.

— При-емный по-кой, — протянул Осип Петрович, и видно было, что он старается что-то вспомнить... — Вспомнил! Мы сожжем вашу лягушачью шкуру. Вам некуда будет спрятаться, потому что с апреля приказом по больнице вы будете отстранены от заведования приемным покоем, останетесь совместителем. Пока не сы-

щется замена. Пока я на месте главврача, я волен переставлять кадры. Можете писать рапорт. Можете жаловаться в профком. Но приказ я все-таки подпишу. Помимо снижения зарплаты вы лишаетесь известной независимости. Кабинет, штат сотрудников в подчинении, контакт на равных с другими заведующими. Нет-нет, не возражайте: вы не могли не привыкнуть к этой роскоши за пять лет. Еще одно: вернется главврач. Он знает вас, как недурного администратора. В таком качестве знают вас и другие. В их глазах я совершаю сомнительную и немотивированную операцию. Скажут: наломал дров старый дуралей. — Осип Петрович плутовато подмигнул. — Я не буду в претензии, если вы начнете оспаривать мои распоряжения. Сейчас не отвечайте ничего. Вашу руку!

Ночью Николай Михайлович долго вспоминал, кого же ему напоминает Немцов?

Давнее, наплывающее из глубины. Госпиталь... Мучительное беспамятство...

...— Как вас зовут? — навязчивый голос, навязчивый взгляд. Чужой? Нет, пожалуй, не чужой. Он как будто помогает делать то, что надо делать, за него надо уцепиться, за ним следовать. Но как трудно. Белая шапочка и седые усы.

—...Как вас зовут?

— Рославлев. Николай Рославлев.

— Вот молодец, умница. А какой сейчас год?

— Не знаю. Война?

— Да. Война. А который год? Год какой? Постарайся вспомнить!

— Не могу. — Слезы неожиданные и бесстыдные... Их нечем утереть. Текут по щекам, капают на подушку. Слезы лежачего.

— Не надо, голубчик, успокойся. Не все сразу. Пос-

тепенно все вспомнишь. Не надо так напрягаться, это вредно. Все вернется. Поверь!

Воспоминание соскользнуло в сон. Николай Михайлович плакал. Это были немые слезы благодарности человеку, который сумел разгадать его молчание, услышал его мысли, понял его чувства, который насильно тянет его в жизнь, преодолевает его сопротивление. Перед ним был уже не старенький врач из госпиталя, а Осип Петрович Немцов, и он — не восемнадцатилетний мальчик, а нынешний — поседевший, благополучный с виду, но все так же нуждающийся в помощи, как тогда, когда был глух и нем после контузии.

В один из дней весеннего перелома, когда деревья набухали почками, а улицы просыхали на глазах, Николай Михайлович шел, сощурившись и подставив лицо ласковому свету. Со времени его разговора со Стариком прошло почти две недели, а он еще ничего не решил.

После блеска улицы в приемном покое казалось темно, и простыни на кушетках выглядели серыми. Николай Михайлович бросил на стол папку, снял пальто, надел халат и вынул из ящика стола чистую бумагу.

Зазвонили сразу два телефона. Николай Михайлович ответил по городскому, что места есть, можно присылать больных.

По внутреннему звонил доцент Аванесов и просил зайти к нему.

Поднимаясь по лестнице на кафедру хирургии, Николай Михайлович колебался: сказать или не сказать Аванесову о предложении Осипа Петровича.

Жора — как звали его за глаза в отделении, — Георгий Арамович Аванесов приходился зятем известному академику-химику, который долгие годы был другом Рославлева-отца.

С Николаем Михайловичем Жора перешел на «ты»

после того, как неожиданно встретил его в узком кругу на праздновании юбилея тестя. С тех пор Аванесов, превыше всего ценивший принадлежность к научной «элите», стал по-особому отличать Николая Михайловича среди сослуживцев. В больнице и на кафедре многие считали Жору пустозвоном, ловким малым, который умело использует свои высокие родственные связи для научной карьеры. Вначале и Николай Михайлович относился к Жоре с предубеждением, но познакомившись с ним поближе, не мог не признать, что Аванесов очень неглуп, деятелен, полон начинаний. Жора вынашивал планы переустройства клиники, краеугольным камнем которого должно было явиться радикальное разобщение практиков и научных работников. Себя он, безусловно, относил к последним. Туманную романтику научно-организационных порывов Жора сочетал с исключительным здравым смыслом и практической сметкой. Как и подобает претенденту на должность второго профессора, Аванесов находился в некоторой оппозиции к заведующему кафедрой Полосухину.

Когда Николай Михайлович вошел к Жоре, тот стоял у окна. Поздоровались.

— Ты не в духе?

— Да, брат, хандра какая-то.

— Хандра у Аванесова? Кто этому поверит! Отчего тебе хандрить? Красив, как Аполлон, мудр, как Мефистофель, и ко всему еще куришь пенковую трубку. Она тебе к лицу при твоей врожденной солидности, миссии наставника, воспитателя кадров...

— Издеваешься? — прищурился Аванесов. — Хребет, брат, трещит! Ординаторы, аспиранты, стажеры, врачи, повышающие квалификацию — кого только нет! Повторяй с ними азы! А где время для своей научной работы? Полосухин землю роет, создал атмосферу какого-то всеобщего учения, все, видишь ли, растут, все

— в погоне за наукой, больничные врачи пишут статьи, планируют диссертации... Ординатор Ходжаев готовит выступление на научном обществе. Зачем, спрашивается, когда ему через три месяца предстоит орудовать скальпелем в какой-то глухомани.

— Что за беда? Пусть докладывает. Что тебе так поперек горла внеплановые диссертации?

— Дорогой мой! Должна же быть какая-то дифференциация! Кафедра — узкий научный коллектив, перед которым — специальные задачи. А если Полосухин...

— Кстати, что ты думаешь о Полосухине? — перебил Николай Михайлович.

— Иван Алексеевич Полосухин хочет объять необъятное. Мания строительства. — Жора насмешливо улыбнулся и развел руками. — Строит научные гипотезы, строит коллектив, операционные, новое здание. А в сутках только двадцать четыре часа, ничего не поделаешь. Обрек себя на веселенькую жизнь: кроме хирургии, все урезано, все на ходу... Наделен сверхъестественной способностью — магнетизм, что ли? — притягивать людей и удерживать при себе — от профессоров до санитарок. — Жора с присвистом затянулся трубкой. — Овладел, что называется, оружием обаяния в совершенстве и воюет, ум и силища — ты же видел!.. Вот тебе и Полосухин! Но, позволь, если ты сам аскет или двужильный, то нельзя же и от других требовать отказа от земных радостей. Не говоря уж о духовных потребностях... Формирует хирургическую армию и рискует потерять штаб. Нет, решительно надо уходить отсюда. Пора! Конец терпению!

В дверь постучали.

— Вы меня звали, Георгий Арамович?

— А, Светлана Петровна! Милости просим!

«Светлана Петровна, та самая укротительница Про-

капюка?» — Николай Михайлович пригляделся внимательнее: ясные глаза под безупречно накрахмаленной шапочкой, правильные черты лица, румянец, белозубая.

— Вот что, Светочка, — Авапесов щелкнул зажигалкой, — изволь пойти в биохимическую лабораторию и потребовать, чтобы анализы больного Родионова сделали срочно. Ты умеешь требовать?

Светлана смутилась.

— Да.... нет... не знаю. Наверное.

— Если не умеешь, так учись. Этому надо научиться в первую очередь. Но ты кокетничаешь: умеешь, да еще как! Коллектив держишь в ежовых рукавицах. Правильно: партгруппорг! Слышал, слышал! Говорят, ты просто безжалостна!

Светлана не ответила, однако улыбку сдержать так и не смогла.

— Добро! — кивнул Жора. Продолжай в том же духе.

Светлана вышла из кабинета.

— Так это она партгруппорг кафедры? — спросил Николай Михайлович.

— Вот тебе полосухинский кадр, — рассмеялся Жора. — Принимают в ординатуру и даже в аспирантуру прекрасный пол. Много ли с них возьмешь? Эта еще из лучших. Провинциальна, конечно, зато цельность, свежесть. Парное молоко и лесные ягоды... Слушай, ты же художник! Представляешь, сноп в руки, васильки — к синим глазам. Золотистые волосы, белорусский костюм...

— Справа — ты: армянский национальный костюм, томный взгляд черных глаз, — продолжил ему в тон Николай Михайлович, — слева Рашид Ходжаев в узбекском одеянии. Живая картина дружбы народов!

— Тяжеловата только, пожалуй, эта Светлана по нынешней моде. Ты как находишь?

— Я? Хм. Я ничего не нашел. Не ищу. Это вы тут

на кафедре — искатели. А что ты заикался об уходе? Неужели серьезно?

— Совершенно серьезно. Здесь работа на дурака. Педагогический процесс заедает. Полосухин торчит, как пик над равниной. И хочет торчать один. Окружил себя молодежью. Приручает «беспризорников» вроде Прокапюка. Они ему в рот смотрят. Царь и бог. Считается с одним Немцовым. Когда-то, видите ли, у него учился. Мало ли, кто у кого учился. А Старик совсем невыносим, из ума выжил.

— Выжил из ума, говоришь?

— Видимо, так. Идешь на пятиминутку?

— Как всегда.

— Я тоже сегодня иду. Надо всыпать перцу рентгенологам. Пошли!

Лестницу только что вымыли, и Жора осторожно ступал по мокрым ступенькам в своих туфлях с мягкими подошвами.

Николай Михайлович слушал его воркующий гортанный голос.

—...Да, Старик все чаще доходит до абсурда. Того и гляди, творческий отпуск попросит. Всю жизнь корпит над холециститами, материал богатейший, но даже кандидатской не защитил... А, хм-хм, на восьмом десятке принялся за научное обобщение. Недавно я поинтересовался, как поживает его монография, ну, знаешь, так, ради вежливости, как спрашивают о здоровье жены, а он подумал, что я всерьез. Минут двадцать у меня отнял. Потерял Старик чувство реальности, потерял здравый смысл. До ночи сидит над аспирантскими докладами, устраивает какие-то обсуждения, клинические разборы. Ну, его дело... В добрый час! Только без нас!

Николай Михайлович ничего не ответил.

Кому вздумалось звать его на хирургию и отстранять от заведования приемным покоем? Одному Стари-

ку, «потерявшему чувство реальности»?.. Вздумалось, но видимо, не осуществится. Не судьба! Все равно спасибо ему за порыв, за доброе понимание, за эти недели надежды... Большое спасибо!

Он сидел, сгорбившись, на высоком стуле-вертушке, точь-в-точь нахохлившийся филин, седой от зимы и старости.

В перевязочной было светло и холодно. Пахло эфиром. Сестра готовила стерильный материал.

— Звали, Осип Петрович?

Брови дрогнули, усы зашевелились:

— Вы помните Гребенщикова?

Николай Михайлович кивнул.

— Пора на операцию. — Осип Петрович выпрямился, отодвинул стул, железо со скрежетом проехало по кафельному полу. — Тянуть дальше нет смысла. Мария Гавриловна, будьте, любезны, вызовите его.

Гребенщиков вошел...

— Садитесь, пожалуйста, — сестра поправила простыню на кушетке.

Гребенщиков сел. Спина осталась прямой, руки согнулись в локтях ровно настолько, чтобы опуститься на колени. Не тело, а бесплотный каркас под сукном костюма.

Николай Михайлович взял его руку, — тонкая легкая кость, обтянутая кожей. Но пульс бился — упорно, нечасто, ритмично, — та же предельная экономия оставшейся жизненной силы, что и в размеренных движениях мускулов.

— Раздевайтесь, дружок, — Осип Петрович бросил в таз вату, смоченную спиртом.

Гребенщиков аккуратно вынул из кармана бланки с анализами, потом снял пиджак, рубашку...

— Прилягте, пожалуйста. — Осип Петрович про-

пальпировал живот больного, задумчиво пересмотрел анализы. — Тебе, дорогой, нужна операция. Откладывать не следует. В понедельник приходи, положим. Согласен?

Гребенщиков не ответил, медленно застегнул пиджак и скрылся за дверью. Вошла его жена.

— Мы вам так благодарны, доктор, — она не знала, к кому обратиться, к Осипу Петровичу или Николаю Михайловичу, — и поворачивала голову то направо, то налево. — Ему стало лучше после тех уколов, что вы назначили. Боли меньше, спит спокойнее. — А уколы делаем аккуратно: четыре раза в сутки, строго по часам!

— Вот что, мамаша, — сказал Осип Петрович, — вашему супругу надо делать операцию. Необходимо. Но... риск, конечно... и мы должны вас предупредить.

Гребенщикова крутила концы платка. Появилось солнце — ненужное, равнодушно-любопытное. Гребенщикова не зажмурилась, не отвернулась, смотрела прямо перед собой в окно сквозь застывшие слезы.

— Как вы скажете, доктор.

Это было решение.

— Делать. Непременно.

Гребенщикова медленно вышла.

— С понедельника вы у нас в отделении, Николай Михайлович! Приказ я датировал первым апреля... Но отбросим суеверие! Гребенщиков будет ваш больной... Заявление в аспирантуру вы подали?

— Да, — не мог не солгать Николай Михайлович.

V

С девяти утра до часу — на хирургии. С часу до шести — в приемном покое. Несколько раз в день туда и назад, вверх и вниз по лестнице. Совместительство. В

приемном замену еще не подыскали. На хирургии — негласный испытательный срок.

Стоя у стола, Николай Михайлович выпил стакан остывшего почерневшего чаю, надел пальто и простился с дежурными сестрами.

В троллейбусе, пользуясь преимуществом высокого роста, Николай Михайлович читал чужие газеты через плечи соседей... Весенний сев... Мобилизовать все усилия... Предельная экономия... Использовать внутренние ресурсы... Непостижимая вещь эти внутренние ресурсы! Кажется, за месяц усвоил больше, чем за все хирургические циклы всех студенческих лет. Советская команда хоккеистов выигрывает... Команда. Двоякий смысл: приказ и группа, связанная единым действием. Почему так? Надо спросить у Калабина, он интересуется лингвистикой, семантикой... Полосухин знает, как формировать команду, Прокапюк... Большая круглая голова, развитый торс и короткие ноги. Пропорции нарушены. Калабин — гармоничио тонок, спокоен, созерцателен, эрудит. Аванесов — результат прививки жизнеспособного южного черенка к благородному семейному древу средней полосы, мощный заряд эмоций пробивной силы, легок на подъем. Климов и Рогачев — продукты новой хирургической формации. Первый — с идеями всемерной техизации, природно красив, выученно элегантен. Второй — мастер по контактам и комплексированию со смежными специалистами, мастер спорта. Лилия Витальевна привносит терапевтический уклон вместе с элементами мягкости, зрелой женственности, моды и уюта. А Светлану Сапину Осип Петрович называет не иначе, как «наша совесть». Всегда отзвук на чувство, на моральную оценку. Не так проста, как с первого взгляда. Команда Полосухина постоянно принимает в свои ряды временных членов для шлифовки в хирургическом деле, для передачи основ своего коллективного

опыта. Специалисты, прошедшие школу Полосухина, разъезжаются во все концы страны. Через несколько месяцев Рашид Ходжаев уедет заведовать хирургическим отделением одной из больниц Узбекистана, а там, глядишь, и Светлана Санина защитит диссертацию и станет ассистентом кафедры в Белоруссии. Все полосухинцы прекрасно владеют хирургической техникой, удивительно «рукасты», как на подбор, и у каждого свое лицо. Рукодействие не обезличивает. А сначала казались одинаковыми, как неопытному глазу — матросы на корабле. Интересно наблюдать за командой. И тренироваться рядом. Иногда быть дублером с надеждой войти в основной состав.

Дома Николай Михайлович написал эпикризы и под бодрый аккомпанемент «Турецкого марша», разыгрываемого за стеной детскими руками, принялся повторять возможные варианты завтрашней операции. Классика музыкальная. Классика оперативная. Совершенство, доступное рукам учащихся... Голова начала ныть. Хоть бы немного подождала. Еще бы часок. Он стиснул виски, зажмурил и открыл глаза. Блики на стене строящегося здания за окном и здесь — на Алесином портрете.

Вчера Калабин и Прокапюк затеяли спор о биологической совместимости, о пересадке органов. Хирургия, патоморфология, биохимия, общие закономерности биологии и патологии. За тридевять земель от этих банальных аппендицитов и грыж. Слушать было интересно, но говорить на их языке он пока не мог. Доведется ли когда-нибудь?

С Прокапюком Николай Михайлович сблизился во время одной из тяжелых гнойных операций. В предоперационной по особому тревожному сопению Прокапюка он понял, что первый хирург далеко не в восторге от своего неожиданного напарника. Прокапюк вызвал Свет-

лану, и по его знакам Николай Михайлович догадался, что он просил ее быть наготове, на всякий случай. Николай Михайлович не обиделся: предстояли долгие часы скрупулезной работы. В такой ситуации недостаточно проверенный ассистент-травматик с «интересной бледностью Монте-Кристо» не мог внушать доверия. Три с половиной часа они продвигались с осторожностью саперов. Малейшее неточное движение могло привести к краху... Кончилось все благополучно.

Потом был совместный кофе с вкуснейшими домашними пирожками. Светланиными. Прокапюк сказал:

— Я сомневался в вас, Николай Михайлович. Извините.

— Я знаю. Я тоже сомневался бы, — ответил Николай Михайлович.

Светлана остановилась с двумя стаканами кофе в руках и молча внимательно посмотрела на них.

Николай Михайлович стопкой сложил написанные эпикризы, наскоро досмотрел в «Вестнике хирургии» резюме статьи Полосухина, потушил свет, раздвинул шторы, чтобы утром было легче проснуться.

Лунный свет... Неудержимо потянуло туда — идти, идти, идти. Идти и дышать... Алеся наверняка уже возвратилась из своего итальянского турне. Какая она теперь, нынешняя, живая?

Вернувшись в Москву весной сорок девятого, он встретил школьного товарища и узнал от него, что Алеся после рождения сына живет на даче. Как-то еще в Клину он прочел в газете имя Вадима Глазырина в числе группы физиков, получивших Государственную премию... Жена лауреата и будущего академика «Мадам Глазырина», пестующая своего отпрыска на свежем воздухе.

Ноги часто сами несли его на Плющиху. Он ждал и боялся, и все равно хотел встретить Алесю, Вадима или обоих вместе. Зачем? Он не отдавал себе в этом отчета.

Однажды он заметил свет в окне, которое уже привык видеть темным. Не думая о том, что из этого может получиться, он мигом поднялся на четвертый этаж и вошел в незапертую дверь. Алеся была дома одна, стояла в пальто и втискивала в сумку объемистый сверток.

О, как врезалось все это в память. Нежилая комната, освещенная запылившейся лампочкой без абажура, почти пустая; посредине — стол, покрытой клеенкой, на нем — круглая бутылка с оранжевой соской.

Алеся посмотрела на него, слегка вздрогнула, но продолжала свое занятие.

— Как... ты поживаешь? — он глядел на нее, неловко опершись о стол.

Алеся была в черном пальто и очень бледна, нездорово бледна... Может быть так казалось от мертвенного света оголенной лампочки?

— Сейчас ничего, болела после родов. Я здесь случайно. Мы сегодня приезжали с дачи показать Павлика в консультации. Мама поехала с ним обратно, а я забежала за фотографиями. Зачем ты пришел? — Она сунула в пепельницу недокуренную папиросу.

Он зло усмехнулся:

— Разжалованному учителю рисования нечего соваться в семью будущего академика?

Она не ответила, сильным рывком втиснула, наконец, сверток и вынула ключ из кармана.

— Мне пора. — Она переложила из одной сумки в другую черный конверт с фотографиями.

— Можно посмотреть?

Алеся пожала плечами:

— Ты же их не знаешь.

— И все-таки покажи.

Он перебрал снимки: Алеся с младенцем, муж с младенцем, все вместе. Младенец в рубашечке, без рубашки, в чепчике, без чепчика, на руках, на коленях, в

кроватке — с погремушками и игрушками — обычный набор, который принято иметь в семье на первом году жизни ребенка. Младенец — крупный, налитой, тугие перетяжки на запястьях и голых ножках.

— Сколько ему?

— Послезавтра семь месяцев.

Светлые завитки волос, крутой лоб и светлые глаза. Спокойно-значительный, увесистый и упругий. Копия своего отца.

— Павел?

Алеся кивнула.

— Что ж, поздравляю. — Он медленно продолжал разглядывать снимки: между мужем и сыном Алеся — и, вместе с тем, пополневшая, а лицо усталое туповато блаженной подчиненности... Алеся! Что с тобой!

— Подари мне вот эту... на память.

— Нет.

— Почему?

Алеся не ответила.

— Я мог бы взять и без спросу...

— Не мог бы. — Она посмотрела на ручные часы — незнакомые, наверно, подарок мужа к свадьбе или рождению первенца. — Я опоздаю на электричку.

— Что за беда? Поедешь на следующей.

— Зачем?

— Ты видишь их каждый день, а меня... Могла бы в конце концов задержаться.

— Не могу. Пойдем!

— Не пойду!— он понимал, что ведет себя глупо, но продолжал упрямиться.

— Ну... оставайся, если хочешь. Уходя, проверь, защелкнулся ли замок. Мне пора. — Алеся подошла к двери, обернулась — глаза полузакрыты веками, прямые волосы вдоль щек, глухое темное пальто, ниспада-

ющее мягкими складками. Двигалась она медленнее, ровнее и тяжелее, чем раньше:

— Уходи же!

— Ах уходи? Хорошо! Гонишь, значит, боишься, значит... Ведь так?

— Уходи! Уходи! Уходи! — неужели этот истошный крик ее, Алесин? Неужели это она? Бледное, исказившееся лицо, прыгающие губы!..

Внезапно все заволокло пеленой; потемнело.

Когда Рославлев очнулся, он лежал грудью на столе и сжимал руками холодную липкую клеенку. Фотографии разлетелись.

Алеся все так же неподвижно стояла у двери. Нетвердой походкой он прошел к выходу.

— Пока, — сказала она.

В тот вечер в пустой квартире на Собачьей площадке он написал ее портрет, черный и плоский.

Зачем он послал его Алесе? Показать, как она подурнела, изменилась, и что он заметил это? Портрет он передал через Кольку Пустошева.

Несколько месяцев спустя, собирая документы для восстановления в художественном институте, он позвонил Алесе по пустячному поводу: узнать координаты секретарши деканата.

— Здравствуй. Ты, вероятно, хочешь взять у меня свой рисунок? — спросила Алеся. — Заходи.

Он вовсе не собирался брать портрет обратно. Но если она так говорит...

— Ну как, ты все еще куришь или бросила?

— Бросила... И тебе советую бросить. Совсем.

Он понял, что она говорит не о курении.

В назначенный час он был у нее. Алеся вынесла портрет, свернутый в трубку.

— Я собиралась передать его на выставку диплом-

ников, — с деланной серьезностью сказала она. — Вполне можно пристроить, в выставкоме почти все свои...

Он слушал ее быструю речь и вначале не улавливал смысла, только чувствовал, что Алеся предельно напряжена, нервничает. Быстрой волной пробежало инстинктивное желание — молча обнять ее... Пробежало и не вернулось. Она недоступна, холодна, далека.

— Другого случая не представится. Пока еще бывшим фронтовикам дают большие поблажки. Давай назовем как-нибудь символично, а? Ручаюсь за успех!..

Как могла она так жестоко ударить! Больнее не придумаешь... Расплатилась сполна.

Дома он хотел уничтожить этот портрет — сжечь или разорвать, — но это показалось дешевой мелодрамой. Он сунул его за шкаф, а на следующий день подал заявление в медицинский. Больше он ничего никогда не рисовал.

Передали ли ей, что в день ее рождения звонил Рославлев? Впрочем, что от этого изменится?

На очередной конференции кафедры и отделения решили сделать общий клинический разбор больного Гребенщикова с участием «смежников». Николаю Михайловичу предстояло доложить о своем первом больном.

Подготовка доклада о Гребенщикове требовала занятий в библиотеке. Навыки пользования читальным залом и каталогами у Николая Михайловича несколько устарели и он решил присоединиться к Светлане Саниной и Рашиду Ходжаеву — завсегдатаям библиотеки.

В тот день он задержался в приемном покое дольше, чем предполагал, и уже не надеялся, что его станут дожидаться в вестибюле библиотеки, как было условлено. Тронул дверь старинного особняка, где помещалась библиотека, и первой, кого увидел, была Светлана у книжного прилавка.

— Добрый вечер! Извини, пожалуйста, за опоздание.

— Угу.

— А Рашид?

— Сидит, занимается. У Рашида девиз: не терять ни минуты.

Желтый электрический свет, желтые шкафы с ящиками картотеки, желтовато-пепельные Светланины волосы. Она наклонилась, выдвинув нижний ящик. Он увидел большой узел ее крепких, пружинистых волос над довольно широкими плечами. На ней было светло-голубое платье. Как-то непривычно видеть ее без халата.

Подошел Рашид Ходжаев.

— Ну, как, много успел? — поинтересовалась у него Светлана.

— Кое-что есть,— Рашид похлопал рукой по толстой тетради.

— Это к докладу о профилактике шока?

— Нет, гематология.

— Ты занялся гематологией? Вот новость!

— Ходжия просила.

— Ходжия — невеста Рашида, — объяснила Светлана Николаю Михайловичу.— А зачем ей гематология? Разве в сельском хозяйстве...

— У нее курсовая о лейкозах крупного рогатого скота. Вот кое-что выписал.

— Пошлешь почтой.

— Нет, подвернулась другая возможность. Завтра в Узбекистан улетает товарищ, приезжал в командировку в ЦК комсомола, обсуждали участие молодежи в освоении целины. Это для нас очень важный вопрос.

— А ты был на целине, Рашид?

— Да, работал во время студенческих каникул на прокладке канала. Освоил профессию ирригатора. Ходжия говорит, пригодится. Так что с целиной знаком... Поедем туда, когда закончу ординатуру.

— Ты и Ходжия?

— Да. На целине у нас большое строительство. Само собой, в каждом поселке — больница. Я буду врачом-хирургом, Ходжия — зоотехником. — Рашид посмотрел на часы. — В моем распоряжении осталось двадцать минут.

— Ну, что ж, иди, — согласилась Светлана.

— А вы?

— Позанимаемся.

Потом они сидели за длинным столом с зелеными лампами. Николай Михайлович читал статью немецкого онколога.

Зеленый свет, тишина, нарушаемая шелестом страниц да редким покашливанием — все это напоминало Рославлеву студенческие годы. Он с удовольствием и удивлением понял, что не совсем еще забыл немецкий. И статья оказалась как раз по теме доклада. Хорошо! Искоса посмотрел на Светлану: прямой лоб, темные брови и ресницы, волосы — золотистые — светлые на висках и спереди, темные — на макушке. Он вспомнил, что не обратил внимания, какие у нее глаза. Закрыл статью и предложил:

— Пойдем, покурим?

Она обернулась: глаза у нее были сине-серые.

Он поднялся. Она послушно пошла за ним.

— Ты, наверное, была отличницей, Светлана?

— Не всегда, а что?

— Так. Что-то есть в тебе такое прилежное, устойчивое. Где ты работала после института?

— В Витебской области, оттуда направили в аспирантуру.

— Да-да, слышал, что ты из Белоруссии...

— Я родилась в Москве. А в Белоруссию попала после войны. Папа погиб на фронте, мама умерла... Меня удочерил дядя — военный...

«Не так-то все просто в ней...» — Рославлев попробовал представить жизнь Светланы: сиротство на рубеже детства и отрочества, потом семья любящих бездетных родственников, воинская часть в белорусских лесах...

— Ты, наверное, любишь белорусский лес?

— Да, очень. Скучаю без него. Весной, например, я знала, какой цветок первым зацветает. Какая птица...

— Почему ты не выходишь замуж, Светлана? — спросил он с простотой старшего, который может позволить себе подобные вопросы.

Она покраснела, видимо, хотела ответить шуткой, но не нашлась. Честное слово, он совсем не хотел сделать ей больно!

— Между прочим, как-то неудобно получается: я вслед за другими сразу стал называть тебя на «ты». А ты продолжаешь на «вы». А разница-то всего в 10 лет.

— И все же, ничего менять не надо. Мне так удобнее.

Николай Михайлович улыбнулся.

— Ну, если удобнее...

VI

— Доброе утро!

— Здравствуйте!

Не все еще знают его по имени. Он, впрочем, тоже.

Широкий светлый коридор хирургического отделения, в конце его — святилище — операционная. Надпись «Вход посторонним воспрещен». Но он уже не посторонний.

Около часу до общей пятиминутки. Записать дневники... Но сначала — к Гребенщикову.

Николай Михайлович прошел в послеоперационный бокс. Четвертый день после операции, которую они сделали с Осипом Петровичем.

Иссохшее тело среди бинтов, отводящих и приводящих трубок. Капельница действует хорошо. Как много техники, стекла, резины и марли и как мало живой плоти. Пахнет только лекарствами. Желто-темное лицо на подушке, глаза...

— Спали?

Утвердительное движение век.

— Боли есть?

Брови поползли кверху, дрогнули: как не быть...

— Пульс частит. Лихорадка.

Он резал и зашивал эти ткани, иссекал вредоносный очаг. В эту плоть вошло его действие и слилось с ней. Ни с чем не сравнимая ответственность за совершенное над человеческим естеством... Любыми усилиями отстоять его жизнь!

Николай Михайлович осторожно закрыл дверь бокса.

В ассистентскую солнце едва пробивалось сквозь запылившиеся за зиму стекла. Николай Михайлович подошел к окну, отвернул шпингалеты и дернул створку. Заскрипело, посыпалось, дохнуло прохладой.

— Привет! Я к вам подымить,— вошла с папиросой Антонина.— Ты один? Благодать-то какая! — она втянула воздух.— Весна. Свежо. Прямо жалко дымить. А хочется... Я так и не пойму, ты в отделении или на кафедре?

— Между отделениями. При кафедре,— усмехнулся Николай Михайлович.— Вернее, рядом с кафедрой. Можешь меня поздравить, Майя из перевязочной запомнила, наконец, мою фамилию, а то все называла Гребенщиковым.

— Ну, что ж, если Майя тебя отличила, остается отличить Полосухину. Тебе, случаем, не предложили выступить с клиническим разбором на конференции?

— Предложили. Откуда ты знаешь?

— Догадываюсь. Обычная методика Полосухина:

сначала дать сотруднику адаптироваться и будто бы не обращать внимания, потом предложить выступить на конференции, потом... Хотя ты, кажется, уже оперировал с ним?

— Так это клинический разбор?..

— Один из вопросов в своем экзаменационном билете. И учти, Полосухин устроит приемную комиссию из своих мальчиков. Они будут тебя прощупывать, а Полосухин помолчит и послушает. Будь готов к тому, что переберут все косточки, обсосут каждый хрящик, иногда и погрызут. Надо же себя показать. Терпи и не расстраивайся. Обычная процедура.

«Жалобы на зуд, — писал Николай Михайлович. — Высыпания, по-видимому, аллергического характера. Непереносимость к антибиотикам...» Снизить дозу? Отменить? Назначить димедрол и хлористый кальций?

Солнце ушло. Свет был ровным и рассеянным. Блики на стенах и на полу побледнели и расплылись.

Посмотреть в справочнике противоаллергические средства? «Полосухинские мальчики...» За этот месяц они сблизились. Разве мог бы он теперь спутать Климова с Рогачевым, как путал, когда только что пришел на кафедру? Тогда, в первые дни, люди казались почти одинаковыми, хотя пять лет работали в общих стенах. Одинаковые молодые лица под белыми халатами и одинаково остроносые блестящие ботинки под модно суженными брюками. И эти их разговоры о защитах, симпозиумах, публикациях и творческих отпусках поначалу воспринимались как некое желание покрасоваться. Теперь-то он знал не только их научные темы, но их манеру работать, и манеру разговаривать, привычки, жесты, семейные истории, любимые забавы.

— «Не корите меня, не браните,— не любить я его не могла...» — мурлыкал под нос Прокапюк, спина его чуть покачивалась как-то по-бабьи, нарочито.

— Нельзя ли переменить пластинку, Володька? Что-нибудь победрее и посовременнее.— Рогачев вышел из-за стола, с сосредоточенным видом сделал несколько вздохов и выдохов, пристроился между двумя столами и отжался, играя мускулами.— Возьму на рентген твоего Кольцова и еще того парня с язвой из пятнадцатой палаты. Не возражаешь?

— Бери.

— Сколько у тебя наблюдений? — поинтересовался Кока Климов.

— Около двухсот, считая контроль. На троих с Милочкой Белоусовой и Рашидом.

— Плодотворный творческий контакт хирургов и рентгенолога! — провозгласил из своего угла Калабин.

— Двести случаев, — процедил Кока, — не вышло бы перебора: темный кабинет, рядом — прелестный соавтор...

Николай Михайлович сказал вдруг:

— У меня просьба ко всем. На днях будет конференция — клинический разбор Гребенщикова. Дело в том, что я — как пес у экспериментаторов. Слишком много новых раздражителей. Боюсь, произойдет сшибка. Нужно подкрепление. Я бы хотел рассказать о Гребенщикове сначала вам. Идет? — Он сказал это неожиданно для себя, в первый раз попросив оценить его дело.

— Идет, согласился Прокапюк, — давайте без рассусоливаний, прямо сейчас. Рогачев и Ходжаев, я думаю, могут слегка задержать свой визит к Милочке.

— Просим, Николай Михайлович, — сказал Калабин. — Все по местам.

Потом Николай Михайлович зашел в палату к Гребенщикову. Нужно было написать направление на сложный анализ. Тот спал в свете полуденного солнца, голова повернута к левому плечу.

Николай Михайлович заполнил бланк-запрос в лабораторию — «для подтверждения некоторых клинико-биохимических корреляций», — как посоветовал Калабин при репетиции доклада. А ребята все-таки молодцы. Нет, они не притворялись, что им интересно.

Во время совместного чаепития в ассистентской Николай Михайлович еще раз пересмотрел свои записи по выступлениям. Что ж, если честно, то Прокапюк, а вслед за ним остальные растолковали ему суть его собственных наблюдений. Это было приятно и подбадривало, и он никак не мог предположить, что в следующий миг настроение его будет испорчено. И кем?

В кабинет вошла Светлана:

— Николай Михайлович, у меня к вам просьба от редколлегии.

— Всегда готов! Чем могу быть полезен?

— Напишите, пожалуйста, заметку в стенгазету к Дню Победы. Хорошо бы в передовицу.

— Но... почему именно я?

— «Где же вы теперь, друзья-однополчане...» — запел Прокапюк.

— Жаль, что День Победы совпал в этом году с воскресеньем, — промямлил Кока Климов.

— Вы бывший фронтовик, Николай Михайлович, моряк Балтийского флота, — серьезно объяснил Рашид, — вот поэтому вам заказ от редколлегии. Вы же не можете не вспоминать.

«Вот именно, не могу не вспоминать, очень удачно сформулировано, — подумал Николай Михайлович, — Эх, молодежь зеленая!».

— О чем же мне прикажете написать?

— Напишите, как вы служили на корабле в блокаду, — сказала Светлана, — как было тогда и как сейчас...

— Где, в Ленинграде? Сейчас там ясная погода без

осадков, я слышал сводку по радио. Кстати, от больницы туда едет экскурсия на праздники. Нельзя ли им поручить... обозрение?

Светлана покраснела. Не за него ли, скажите на милость? На ее глаза навернулись слезы.

Чтобы разрядить ситуацию, Лилия Витальевна заговорила о выставке детского рисунка в музее изобразительных искусств.

Остаток дня прошел в делах. О размолвке молчали, но она не забылась. К концу работы Николай Михайлович попросил у дежурной сестры журнал для записи процедур. Дверь в ассистентскую была приоткрыта и, делая запись, Николай Михайлович уловил обрывки разговора, касавшегося его особы. Говорил Рогачев:

— Рославлев, безусловно, неплохой мужик. Но учти — травматик. Неожиданные вспышки, расстройства настроения... Ну, ты же врач, знаешь. Не расстраивайся. Какая у нас с ним получилась хорошая и искренная смычка, когда разбирали его больного! А та операция, на которой он стоял вместо Климова? Володька говорил, героически стоял! Правда, Володя? Хирургия — наше общее. А Ленинград... Почем ты знаешь, что у него в прошлом? Это касается только его.

— Нет, это тоже наше общее. Просто ему кажется, что нам это не нужно, не интересно, что нам нужна только раскрашенная заметка. А нам он весь, весь Рославлев-человек нужен: и хирург, и фронтовик, — совсем тихо закончила Светлана.

— Человек он стоящий. Работать с ним хорошо. Хорошо, что он у нас. (Голос Прокапюка). А твоя стенгазета — для него детская игрушка. Ты зря полезла в бутылку.

— Да. Да.

— На фронте он был давным-давно,— процедил

Кока Климов. — А вот до хирургии добрался почему-то только к сорока.

— О чем мы спорим? (Это, кажется, Калабин.) Роставлев — не без способностей. Пусть работает в отделении. А последствия контузии — будь они у него психологические или патологические — не наша забота. Его лучше не трогать. Кроме производственных дел, разумеется.

— Нет! — голос Светланы.

— Как нет? Хотел бы я знать, кто теперь захочет его успокоить?

— Я, — сказала Светлана, — и вы тоже.

— Записали? — спросила сестра у Николая Михайловича и прикрыла дверь в ассистентскую.

Полосухину, вероятно, рассказали об эксперименте обсуждения, и Иван Алексеевич решил, что этого достаточно. Сообщение Рославлева не заслушивали. Исправленный текст доклада лежал у Николая Михайловича в столе — на память. Гребенщикова перевели из бокса в обычную палату. Внимание заняли новые больные и новые проблемы. Неожиданно воспалился послеоперационный рубец у больного после холецистоэктомии. Николай Михайлович ломал голову, откуда взялось нагноение...

На таком фоне, полном текущих забот и тревог, нежданно прозвучал вызов из секретариата Полосухина — явиться в кабинет шефа для беседы.

— Здравствуйте! Прошу вас! — Полосухин сидел за столом вместе с Осипом Петровичем, склонившись над бумагами. Густые, хотя и седеющие кудри торчали на висках, как у школьника. — Вот новый антибиотик, ознакомьтесь с инструкцией. За проведение всех манипуляций в ближайшие дни проследите лично. — Поло-

сухин не назвал фамилии больного, подчеркивая этим, что он давно в курсе неприятностей.

Суровое и озабоченное лицо шефа, отрывисто-строгие распоряжения, отданные лично, то, что он не спросил, будет ли Рославлев в клинике в праздничный день, считая это само собой разумеющимся, — все это означало, что в послеоперационном осложнении он винит Николая Михайловича и сердится. Николай Михайлович готов был бы просидеть в клинике все праздники в году, лишь бы поставить больного на ноги. Не хотелось и этого разговора с Полосухиным — да еще в присутствии Осипа Петровича... И в то же время Рославлев с благодарностью чувствовал, что Иван Алексеевич говорит с ним уже как со «своим», вошедшим в «команду». С гостем, консультантом он никогда не говорил бы так.

— Теперь второй вопрос. Предстоит заседание общества, и мы с Осипом Петровичем решили...— Полосухин бегло посмотрел на часы.— Прошу прощения, должен сказать несколько слов хозяйственникам. Минуту! — он вышел из кабинета.

— Итак, медовый месяц с хирургией кончился. Начались будни. — Осип Петрович чуть подмигнул Николаю Михайловичу. — Это в порядке вещей. В целом вами довольны. Ну, а вы, надеюсь, не жалеете о переходе?

— Жалеть? Да, я... я...

— Ну и прекрасно, — кивнул Осип Петрович. — Рад. Ваше «спасибо» чувствую и принимаю, необязательно говорить вслух. Работайте.

Вернулся Полосухин.

— Дело вот в чем, — он пригладил волосы. — Мы решили поставить ваше сообщение не на кафедральной конференции, а на заседании хирургического Общества, выступите вместе с ординатором Ходжаевым. Проблем-

ные доклады делают специалисты из Института имени Вишневского, вы представите иллюстративный клинический материал. Вам надо кое-что подредактировать, подтянуть, особое внимание обратить на литературу вопроса. Я подобрал рефераты. Вы на каком языке читаете?

Николай Михайлович почувствовал: отказаться нельзя. Нет у него больше этого права. Немного закружилась голова, как бывает, когда смотришь вниз с высоты. Полосухин и Немцов ждали.

— По-немецки. Немного,— хрипло выдохнул Николай Михайлович.

— Здесь больше английских, ну, кто-нибудь из товарищей поможет. Немецкие тоже есть. Желаю успеха! С наступающим праздником! — Полосухин пожал ему руку.

В предпраздничный день в ординаторской было хлопотно и оживленно. Перепроверили распределение дежурств, уточнили, кто идет на демонстрацию, и поскольку выяснилось, что почти все подкопили отгулы, спорили, кому как и где продлить первомайский праздник. Рогачев предложил нагрянуть компанией к его тетке, которая живет в Петушках, и заодно прогуляться за сморчками.

— Настоящий русский лес, Рашид. Ты вообще-то когда-нибудь собирал грибы? А там доберемся и до Владимира, посмотрим архитектурные памятники — тоже настоящая Русь!

Климов предложил охоту. Калабин спросил, поедет ли с ними егерь. Кока пожалел, что не удалось на этот раз заполучить знаменитого егеря из охотничьего клуба при Доме ученых и рассказал, как удачно охотились с ним зимой на лося. Охотились вдесятером, скинувшись по кругленькой сумме. Коке посчастливилось утром пер-

вым увидеть зверя и выстрелить. Но оказалось, что он его только ранил, и лось ушел. Взяли зверя только к вечеру.

— По-моему, это страшно и недостойно, — сказала Светлана, — я понимаю, когда единоборство, когда охотнику самому грозит опасность, но когда десять мужчин истязают одно несчастное животное... Это нечестно. У нас в Белоруссии...

— Ты женщина, — констатировал Рашид, — не можешь понимать охоту.

— Мне тогда за первый выстрел, кроме общей доли, достались рога и нижняя губа, — продолжал Кока. — Охота есть охота, Светочка. Знала бы, какое заливное получилось? Пальчики оближешь. Вкусно было, Борис?

— Очень, — подтвердил Калабин.

— Грибы или лось?

— Вместе или врозь?.. — сквозь зубы процедил Прокапюк.

— По-моему, можно дополнить дичь грибами и собраться за общим столом, — подвела итог Лилия Витальевна.

— Браво! — согласился Рогачев. — Слушай-ка, а у тебя нет случайно бродней? — обратился он к Николаю Михайловичу.

— Есть.

— Одолжишь Рашиду на пару дней? — поинтересовался Рогачев и тут же покраснел.

«Стесняется, что не пригласил меня», — понял Николай Михайлович.

— Я дежурю. Буду вспоминать и бранить вас нещадно, чтоб всем вышла удача, — успокоил он Рогачева, — а за сапогами зайдем вечером ко мне на Собачью площадку. Хорошо, Рашид?

— Хорошо. Спасибо, — кивнул тот.

Рисунок голых ветвей на бульваре был особенно четок и тонок в прозрачном воздухе поздних сумерек. Ядовито-оранжевые скамейки блестели свежей краской.

— В детстве меня часто брали охотиться на сайгаков. Охотились за ними на машинах, — Рашид поморщился. — Я не хотел говорить при Светлане. Представляешь, сайгак бежит, как стрела, а ему все равно не уйти, с машины — пиф-паф!.. Теперь такая охота запрещена. Сайгаков разводят в заповеднике... Володя Прокапюк, конечно, отправится с Климовым на лося. Между прочим, я решил подарить ему к свадьбе охотничий нож с узбекским орнаментом на рукоятке.

— А скоро свадьба? — Николаю Михайловичу вспомнился растерянный взгляд Светланы, когда в библиотеке он спросил ее о замужестве.

— До отпуска справят, — уверенно сказал Рашид,— хотелось бы погулять на их свадьбе. Хорошие люди. Семья будет хорошая.

— А Светлане что подаришь?

— Набор пиал и чайник. Уже куплено и прислано. Она хозяйка.

Дошли до Собачьей площадки. Поднимаясь по лестнице, Николай Михайлович почувствовал запах сдобного теста. Очевидно, пироги пекли у соседей. Однако ошибся: Приехала Валя.

— Нам повезло,— сказал Николай Михайлович Рашиду,— прошу познакомиться.

Квартира явно посвежела, сделалась уютной.

— Я привезла твою любимую настольную лампу,— сказала Валя.

— Спасибо.

Николай Михайлович заметил, что и Валя посвежела, даже помолодела. Весна!

Сели за стол. Валя радушно потчевала Рашида пирожками, объясняя, где какая начинка. Оказалось, что

Рашид никогда не пробовал пирожков с грибами, а о пирожках с вязигой даже не слыхал.

Рашид проявил верх тактичности, рассказывая о работе.

Валя была очень оживлена, щеки раскраснелись, серые глаза блестели.

А голос звучал громче обыкновенного, иногда она сбивалась, что было ей несвойственно. Что это? Весна? Вино? Непривычный московский ужин в обществе постороннего? Валя очень заинтересовалась, узнав, что Рашид жил и работал в Фергане, стала подробно расспрашивать.

Николай Михайлович удивился этой «светской чуткости», но был доволен, что Валя сумела разговорить обычно немногословного Рашида.

— Ходжия сейчас работает в райкоме комсомола и учится в сельскохозяйственном институте, заочно, — рассказывал Рашид о своей невесте. — Познакомились около четырех лет назад. Я проходил студенческую производственную практику. В больницу привезли девочку: она окучивала хлопок и поранила кетменем ногу... Это была моя Ходжия... У нее остался шрам на стопе. Может быть специалист сделал бы лучше, но Ходжия говорит, что ей приятно иметь на всю жизнь такую память — мой хирургический шов.

— За ваш будущий семейный очаг, за ваше счастье! — подняла бокал Валя.

— Благодарю! — с чувством склонил голову Рашид. — Приезжайте к нам в гости. Вы полюбите Узбекистан!

— Спасибо! — живо откликнулась Валя.

Она спросила, как учат в узбекских школах русский язык и литературу, — ей интересно как преподавателю — нравились ли Рашиду эти предметы?

Выяснилось, что Рашид знаток и любитель поэзии, даже сам пробовал переводить стихи.

— Если можно, прочитай что-нибудь, над чем вы работали, по-русски и по-узбекски, — попросила Валя.

Рашид задумался, покраснел:

— Постараюсь... Вот, например, Пушкин, из «Подражаний корану», помните?.. «И чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее в новой красе оживилось: Вновь зыблется пальма тенистой главой, Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой.» По-узбекски эти строки звучат примерно так, послушайте!..

— Замечательно! — похвалила Валя. — Вам удалось схватить интонацию, ритмическое движение стиха! Вам непременно надо продолжать. За дружбу! — Чокаясь с Николаем Михайловичем, она пролила немного вина в блюдо с салатом. — Ой-ой-ой!

— Это к счастью!— галантно заметил Рашид.

Посидели еще немного. Рашид стал прощаться. Николай Михайловий вручил ему сапоги: бродни. Валя предложила проводить гостя, а заодно и самим подышать свежим воздухом.

Когда за Рашидом захлопнулась дверца троллейбуса, Валя взяла Николая Михайловича под руку.

— Коля, я не знаю, как начать. Да не все ли равно? Буду говорить сбивчиво. Я уеду, Коля, далеко и, наверное, надолго. Юру переводят из Братска на Сырдарью, на строительство электростанции. Лида... В сентябре будет внук или внучка, — Валя не сказала «у нас с тобой».

Дальше пошло легче: «помочь им устроиться на новом месте, научить молодую маму быть мамой»...

— Но не только в этом дело,— Валя зажмурилась. — Знаешь, со мной что-то странное происходит: ужасно хочу маленького. Хочу купать, пеленать, держать в руках его тельце. Веришь ли, хожу как шаль-

ная. — Она вынула платок, отерла лицо. — Работу я, конечно, не брошу, преподаватели всюду нужны.

— А я? — спросил Николай Михайлович.

Они медленно шли по пустынному переулку.

— Понимаешь, когда родился Юра, — сказала Валя, не отвечая на его вопрос, — это было так давно... Да, была гордость: у меня сын! Но ужасно боялась погрязнуть в пеленках, боялась, что придется бросить институт. Мне помогла Васина мама. Сколько было бессонных ночей, сколько тревог... И как быстро все прошло! Не насытилась я, что ли? С Лидой мы ладим. Она будет учиться дальше. Не хочу загадывать сроки, но до детского сада... Первые шаги... Первые слова. Ой! Только бы было все благополучно! Ты сердишься на меня? — Валя теснее прижалась к нему плечом. — Знаешь, Коля,— она перешла на быстрый шепот,— я очень виновата перед тобой. Мне нужно было родить тогда в первые два года в Клину. Да что там! Теперь поздно. Нет-нет, ты не перебивай. Прости меня. И еще. Ты только слушай, не отвечай. Я была бы так рада, если бы у тебя был ребенок! Когда-нибудь. Не сердись. Молчи. Пришла пора нам проститься...

Николай Михайлович хотел сказать, что без Вали ему будет плохо, что он ее любит. Хотелось, в свою очередь, просить прощения, благодарить... Но он привычно помолчал.

Они вышли на площадь. На площади было светло. Уже горели огни иллюминации.

— В школе я уже договорилась. Поможешь мне собраться? Проводишь?

— Подснежники! Последние подснежники! — донесся ласковый старческий голос.

Валины пальцы — тонкие, горячие, сильные — сплелись с его пальцами.

— Купи мне последние подснежники,— попросила она.

VIII

— Светлана, я так ничего и не написал для стенгазеты, — развел руками Николай Михайлович. — И не напишу. Хочешь компенсацию? По изобразительной части.

— То есть?

— Могу исполнить заголовок газеты каким-нибудь особым шрифтом, несколько рисунков...

— Правда? Вот хорошо!

— Краски есть?

— Есть. И краски, и бумага, и карандаши.

Мастерскую по оформлению стенгазеты развернули в холле. Николай Михайлович придирчиво осмотрел принесенные орудия производства.

— Где твои заметки?

— Вот. Воспоминания о войне. Четыре заметки.

— А кроме войны?

— «Бои и победы в Голодной степи»— от Рашида Ходжаева, «О съезде онкологов в Венгрии» — от Георгия Арамовича, «О работе «Комсомольского прожектора», об экскурсии во Владимир и Суздаль, «По следам профсоюзного собрания». Еще — впечатления стажеров о работе кафедры. Володя подвел: обещал написать заметку об итоговых занятиях философского семинара, и, конечно, не написал. Но ничего — напишет для следующего номера.

...Карандаш — над листом ватмана. Первые наметки рисунка. За плечом темная девичья головка. Он обернулся: почему светлые волосы? Стряхнул сон...

— Светлана, расскажи что-нибудь.

— Что?

— Вот ты заказывала мне заметку. А сама-то помнишь войну?

— Помню.

— Что ты можешь помнить? Наверное, голод, холод, затемнение, коптилку на столе?

Она кивнула и спросила:

— Вам светло? Может, принести настольную лампу?

— Не надо. Да-а... Каждому поколению свое. Вот скажи, тебе нужна эта оглядка в детство военных лет?

Она задумалась.

— Как вам ответить... Конечно, по сравнению с вами я видела меньше. Но как раз тогда и поняла важное.

Рославлев усмехнулся.

— Фантазерка. Ты переносишь свои теперешние представления в детские годы и воображаешь, что они родились давно. — Николай Михайлович отложил карандаш и взял кисточку. — Так что же из войны тебе запомнилось?

— Сначала?— она послушно начала вспоминать.— Ну, сначала тревога, бомбоубежище, карточки. Заклеивали крест-накрест оконные стекла, собирали вещи, вязали узлы, шили рюкзаки. По ночам нас, детей, часто водили в бомбоубежище, в метро. Все менялось. Взрослые куда-то уходили и не возвращались. Мой папа погиб на второй месяц войны. — Она замолчала.

—Кем он был?

— Хирургом... Потому я и пошла в медицинский. А мама работала на авиационном заводе целые дни, иногда и ночи. Я оставалась с соседями. Помню ранние холода. Все старались одеться теплее. Женщины и дети стали носить байковые шаровары. Все чаще спали, не раздеваясь. А на тревоги перестали обращать внимание, в бомбоубежище ходили редко, в особых случаях. Кругом опечатанные квартиры. Нас, детей, в переулке осталось совсем немного. Взрослые хо-

дили рыть окопы. Немцы были все ближе... Я что-то не то говорю.

— Продолжай! Вы не эвакуировались! — Николай Михайлович тщательно выписывал заголовок.

Светлана неподвижно смотрела выше его головы — куда-то в верхний темный угол холла.

— Нет. Мамин завод остался. В начале зимы мы с подругой ехали на трамвае в магазин, чтобы получить что-то по карточкам. В трамваях народу было мало: женщины, дети, старики. В наш вагон вошел молодой боец, розовощекий с мороза, в овчинном полушубке, шапке-ушанке. Весь такой большой, сильный, добрый, здоровый. Кто-то сказал: сибиряк. Все зашевелились, стали наперебой его расспрашивать. А он улыбался и спокойно говорил: «Нет, Москвы мы не отдадим». Через год, когда уже работали школы, мы, как домашнее задание, писали письма: «Дорогой боец! Я учусь хорошо. Бей фашистов. Посылаю тебе подарок». Я взяла кисет из красного мулине и представляла себе того бойца-сибиряка, как он получает мое письмо и кисет...

— А знаешь, я ведь тоже получил кисет от школьницы.

— Правда?

— Угу. Ну, давай дальше.

— Как-то зимой у нас неожиданно появился дядя Сережа, папин брат. Это он потом удочерил меня. Он был ранен и только что вышел из госпиталя — бледный такой, с рукой на черной перевязи. Мама налила дяде Сереже похлебки и положила рядом хлеб. Это был мой хлеб — белый, по моей детской карточке. Я подошла к столу и сказала, что тоже хочу есть. Помню, мама вздрогнула и посмотрела на меня испуганно, потом подошла к окну и отвернулась. Дядя Сережа поднялся за ней и сказал: «Не надо, Оля. Она же еще ребенок. А мама молчала и отирала слезы рукой. Я поняла, что ей

стыдили за меня, потому что я пожалела хлеб, и еще стыдно, что я голодная, а она не может накормить меня. Я никогда не видела, как она плачет. Даже тогда, когда пришло известие о папиной смерти. Потом дядя Сережа поделил хлеб на три части, и мы ели его все вместе...

«Сколько же ей было тогда? — прикинул Николай Михайлович, — десять, одиннадцать?»

— Теперь вы расскажите, — попросила Светлана.

— Ты пока можешь наклеивать заметки. А я сделаю перекур. Что же тебе рассказать? Как было в Ленинграде тогда? Не бог весть какой из меня рассказчик... Ну ладно. Я служил на корабле вместе с дружком Валькой Дроновым. Было это в начале сорок второго. Корабль стоял на Неве. Выдали нам погоны — БФ. Сфотографировались, несмотря ни на что. — Николай Михайлович замолчал, взял кисть и принялся отмывать ее. Вода в стакане стала красной. — Время от времени некоторые получали посылку. Содержимое делилилось на всех. Очень хотелось сладкого. Десятидневную норму сахара съедали за один присест. Весной сорок третьего Вальке Дронову какими-то путями пришла посылка из дому, из Москвы. Валька поторопился за ней к родственникам на улицу России. Попал под обстрел. Не вернулся. А мы гадали потом, успел ли он забрать посылку...

— Дальше, — тихо попросила она.

— Летом я был ранен и контужен. Помню ощущение электрического разряда, потом теплая кровь и теплая вода — я упал за борт в Фонтанку... По-моему, ты клеишь хвост не к той заметке! Дай-ка бритву!

— А в госпитале?

— В госпитале лежал на щите. Труднее всего было привыкнуть, что распятое тело — это я. Потом был этап привыкания к себе такому, каким вышел из рук докто-

ров, когда уже сам за себя стал в ответе. Думалось, что возвратится все: надо только терпеливо ждать... — Николай Михайлович перешел к витиеватому орнаменту. — А после понял, что возвратится не все. Мираж... Вот тогда-то и стало горько. Ждать было нечего, а жить взаймы не хотелось...— Николай Михайлович выпрямился, разминая пальцы.— Слишком радужно! Тебе не кажется? Пожалуй, мы чересчур поддались весне...

— Нет. Пусть так.

— Серо-синие глаза смотрели серьезно — на него и вдаль одновременно.

— Что задумалась? Жалеешь? Зря! Лучше нарисуем трактор? Где заметка Рашида?

— Вот. «Бои и победы в Голодной степи».

— Читай вслух!

— «Узбекская целина широко раскинулась к югу и юго-западу от Чирчик-Ангренской долины, за Сырдарьей. Весной и летом здесь дуют губительные жаркие ветры.. Сотни лет люди пытались оживить Голодную степь... С первых лет Советской власти началось ее планомерное освоение... Теперь сражение с целиной в самом разгаре. Люди верят: эту не тронутую плугом землю можно покрыть пышным ковром хлопчатника, садами. Так будет!»

Накануне Дня Победы Николая Михайловича пригласил в гости сосед Степан Егорович.

— Бывало, еду и сплю за рулем,— вспоминал Степан Егорович. — Ночь за ночью. Спать за рулем! Как повречебному, можно это? Хлеб ржаной да капуста.. Все, помнится, капустой кормили, а у меня язва. Да до язвы ли было! Знай, веди машину. Надо так надо. Сейчас я, смотри, в теле стал, а тогда — тощ, череп, а силы брались. Сейчас одну смену отработали — кряхтишь, капризы заводишь...

Хотя, коли надо... Откуда они берутся-то, силы? Вот ты — врач, объясни!

Вскоре Рославлев стал прощаться.

— Ладно уж, иди,— махнул рукой сосед,— коли уж намечена эта твоя библиотека. — Он явно сомневался, что наука заставляет Николая Михайловича покинуть застолье. Уж не ходит ли эта «наука» в нарядном платье, в модных туфельках?

Идти бывшему фронтовику в библиотеку вечером восьмого мая — это действительно воспринималось как нечто неправдоподобное. Да и библиотечный зал в канун праздника будет закрыт. Ни Рославлев, ни Светлана как-то не подумали об этом. Но встреча была назначена, и он спешил в метро на «Краснопресненскую».

Николай Михайлович натянул плащ, вышел из дому... Работая над стенгазетой, он кажется, наговорил Светлане лишнего...

Она, как и договаривались, ждала его в метро. Нарядная, пышноволосая, напряженная.

— А ведь библиотека сегодня не работает. Праздник,— сказал Николай Михайлович после взаимных приветствий.

— Да? — растерянно произнесла она. — А я и не сообразила...

Возникла довольно продолжительная пауза.

— Ну, я пошла?— прервала она молчание.

— Боже, до чего ты серьезна,— усмехнулся Рославлев. — И смотришь так строго. А что если нам пойти в кино? Сто лет не был.

В «Пламени» билетов не оказалось, решили дойти до «Москвы».

— Так будет устойчивее?— Николай Михайлович взял ее под руку.

Она покраснела, немного отставила локоть, но руку не отняла. Шелковый Светланин плащ шелестел в такт

шагам. От площади Восстания до Маяковской шли молча. В «Москве» билетов тоже не было. У метро Светлана стала прощаться.

— Куда ты?—спросил Николай Михайлович.—Разве уж мы в центре, пойдем посмотрим иллюминацию.

Они влились в нарядную толпу, что текла по предпраздничной улице Горького. Было светло. Огоньки иллюминации то прокатывались быстрыми струйками, то вспыхивали поодиночке.

— А тот день Победы-то помнишь?— спросил Николай Михайлович.

— Конечно.

— Посидим немного у Пушкина? — предложил он.

— Светлана кивнула. Они устроились поудобнее, и Рославлев снова вернулся к прерванному разговору.

— Расскажи мне, что ты помнишь.

— Помню весь день.— Она подняла голову.

— Давай с самого начала.

— Было очень солнечное утро. Я проснулась от того, что Борька, мой брат, орал: «Победа!» И я стала тоже кричать: «Ура!» и кувыркаться, и мы кричали до одури, потому что в такой особенный день соседка Мария Владимировна не должна сердиться.

Потом прибежал Борькин товарищ и сказал, что в школу можно не ходить, а вечером будет салют, и надо пробраться на Красную площадь. Я только спросила: «Бабушка, можно я надену красные ленты?» Бабушка сказала: «Конечно, можно» — и поцеловала меня в косички. Я по ее дыханию поняла, что она плачет, и знала, что она плачет о папе. Мне тоже захотелось плакать, но я сдержалась. Бабушка послала меня в булочную — взять хлеб по карточкам и еще дала денег — купить пенал. Мне давно хотелось этот пенал — красный с желтым, в виде трубки,— говорили, что их делают из снарядных гильз. Радио играло марши, было

очень солнечно, и все люди были какие-то особенные... Вам не интересно?

— Продолжай.

— Днем мы с Борькой ходили в столовую по талончикам. У нас был один обед на двоих, поэтому Борька сначала ел половину, а я полсупа, а потом мы менялись тарелками. За наш столик села женщина, очень худая, с серым лицом. Когда я оставила полтарелки для Борьки, женщина спросила: «Деточка, ты больше не будешь кушать?» Я растерялась, потому что это был Борькин суп, а женщина и так уж съела целую порцию. Но Борька ответил за меня: «Нет, нет». — «Тогда я съем, спасибо». — Она начала есть быстро-быстро, опустив глаза в тарелку. Мы встали к выходу, и Борька мне шепнул: «Ленинградка, после блокады».

— Я тогда служил на Севере, — сказал Николай Михайлович. — Помню, мы не отрывались от радио. Представляли, какой в Москве салют. Ты его видела?

— Да. Вечером. Ой, сколько было народу! Нас затерли в толпе. Я отстала от мальчишек. Кругом были незнакомые лица, становилось темно, но тут вспыхнули прожекторы. Я почти не видела лиц, замерзла. Кто-то наступил мне на ногу и вместо того, чтобы извиниться, стал ругать, что я пошла на салют одна. И билеты на метро остались у мальчиков... А потом прожекторы забегали часто-часто. Стали стрелять, небо осветилось. Какой-то дяденька подхватил меня на руки, и я увидела, что лица у людей светлые и разноцветные, как небо. Я видела только небо в праздничных ракетах, лица людей и красные кремлевские звезды. И вдруг я поняла, что войны больше не будет, не будет затемнения, сирен, кабачков-аэростатов на небе и лепешек из отрубей. И в школе будет тепло. И мне стало стыдно, что я в такой момент думаю о лепешках и об отмороженных пальцах, когда люди на войне погибали, и мой папа — тоже... А

мама... — Светлана запнулась. — Я заплакала и прижалась к тому дяденьке в гимнастерке, который держал меня на руках. Он меня поднял еще выше, и я увидела, что многие плакали и кричали: «Ура!», и в их глазах отражаются огни салюта. Я тоже закричала: «Ура! Ура!», задела ногой кого-то по щеке, но тот только пожал мне щиколотку и засмеялся. Меня стали передавать через головы с рук на руки. И я поняла... Да, я поняла, что в жизни все важно — и большое, и малое, и нельзя отделить одно от другого...

У него кольнуло сердце. Поднять ее сейчас, как тот «дяденька», среди площади? Пахнуло чем-то давно забытым.

«Жить хочу, радоваться хочу, молодости хочу. Ведь никогда и не был по-настоящему молодым! Теперь-то я знаю, почему ты взялась меня опекать. Для тебя я — один из пострадавших на войне».

А вслух произнес:

— Ты где живешь, Светлана?

— На Земляном валу.

— Как тебе удобнее отсюда добраться?

— Вам очень хочется поскорее отделаться от меня?

— А если Прокапюк увидит? — неожиданно для себя с сарказмом спросил он.

Ее лицо напряглось.

— Мне обидно, Николай Михайлович. Вы слушали мои нескладные рассказы. О себе рассказали. Зачем? — Они медленно отошли от скамьи. — Я понимаю, многое вы отдали от себя... Но вглядитесь в настоящее.. Попробуйте. Вы верьте! Ее губы прыгали, и вся она дрожала от холода и от волнения.

— Ты совсем окоченела! Держись! — он шутливо схватил ее сзади за локти, и, подталкивая, заставил бежать все быстрее по бульвару к Петровским воротам.

— Сейчас будет взлет! Приготовиться, локти при-

жать плотнее... — он сделал вид, что собирается поднять ее, — как тот «дяденька» на Красной площади.

— Ой, я же тяжелая! — вскрикнула она.

— Ничего, держись! Вот только салюта нет! — И будто в ответ на его слова над крышей Екатерининской больницы взлетела одинакая ракета — предвестник завтрашнего торжества. Ярко-зеленая. Цвет надежды. Знак, что путь открыт.

— Согрелась? — спросил он Светлану. У нее во время бега рассыпались по плечам волосы, она наспех заплела их в косу.

— Ну вот, совсем как та девочка — в сорок пятом. Только без красных лент.

— Они потерялись, домой я пришла почти в таком же виде... Вы на меня не сердитесь, Николай Михайлович? — Огромные доверчивые глаза.

— Глупышка! Сердиться? Ты очень-очень хорошая. Будь такая, как есть. Большего сказать не могу. Извини...

VIII

Оттянуть последний рыжеватый узелок кожаного шва — еле заметное движение ножниц — готово! Швы сняты.

Николай Михайлович бросил в лоток пинцет и ножницы.

— Йод.

Больной приподнял голову с плоской подушки и в первый раз потянулся посмотреть на свой живот. До сих пор во время перевязок он безучастно смотрел в потолок.

За окном бушевала гроза, в ординаторской надрывался телефон.

Сестра подала палочку с йодом, потом вытащила

корнцангом марлевую салфетку из бокса, перехватила ее другой рукой и отерла со лба пот:

— Дождь какой! Наконец! Теперь полегчает.

В дверь заглянул Рашид, посмотрел на Николая Михайловича, на больного и вышел.

— Наклейку.

Николай Михайлович вытер руки спиртом. Больной откинулся на подушку и, закрыв глаза, улыбнулся.

Когда Николай Михайлович вернулся в ординаторскую, Рашид, погруженный в созерцание какого-то рентгеновского снимка, молча передал ему вырванный из настольного календаря листок. Под числом 21 мая Николай Михайлович прочел: Г-6-76-84.

— Что такое?

— Вам звонили. Некая Александра Павловна. Просила позвонить вечером, после шести.

Николай Михайлович прочитал записку еще раз, свернул ее вчетверо и положил в карман. Александра Павловна! Алеся! Как это понять?

По асфальту бежали ручьи, вода с шумом стекала через решетки по краям тротуара. В переулке мальчишки, засучив штаны, шлепали босыми ногами по лужам. Пахло черемухой. Почему Алесе вдруг вздумалось позвонить ему? Ах, да не все ли равно! Важно, что звонила. Через два-три часа он услышит ее голос.

В квартире было темно. Николай Михайлович опустился в кресло у телефона. Еще полчаса, час. «После шести».

Он вытащил бумажку с телефоном, хотя знал этот номер назубок. Пора! Гудок... еще...

— Алло!

Все также, глядя на записку, он сказал:

— Александру Павловну, пожалуйста.

Удивленный голос, ее голос, который он узнал мгновенно, ответил:

— Я слушаю!

— Алеся!

— Коля, ты? Здравствуй! Очень хорошо, что позвонил, — было слышно, как она перевела дух. — У нас, видишь ли, к тебе срочное дело: брат Вадима должен лечь на обследование, не то — гастрит, не то колит...

— И ты вспомнила обо мне?

— Да. Вадим говорит, что ваша больница славится, как одно из лучших заведений по гастроэнтерологии. Правильно я произнесла?.. Не мог бы ты рассказать, какие требуются формальности для поступления, и вообще.

— Рассказать по телефону, или кто-нибудь зайдет в клинику? — он не сказал: «ты зайдешь».

— По телефону я перепутаю. Лучше зайду.

— Когда?

— А когда удобнее?

— В понедельник, послезавтра, я дежурю. Заходи в любое время суток.

— В понедельник? Хорошо... А ты, кажется, совсем решил исчезнуть?

— Звонил тебе в день рожденья. Тебе не передавали?

— Я была за границей. Говорили, что звонил какой-то врач, но никак не могла предположить, что это ты.

— Разве так трудно предположить?.. А как вообще дела?

— Дела? Ничего. Дети растут. Павлик недавно болел ветрянкой, я его всего вымазала зеленкой, а Алена позавидовала и выклянчила ее тоже разрисовать... Две гравюры прошли на выставку... А у тебя что нового?

— Все по-прежнему.

— Значит до понедельника?

— До понедельника. Жду!

— Я тоже.

«Чего можно ждать?».

В понедельник Николай Михайлович работал в клинике с особой тщательностью и аккуратностью. Он рассчитал, что Алеся, вернее всего, придет вечером.

Казалось, день тянется бесконечно долго. Николай Михайлович рад был любому занятию, лишь бы скоротать время. С полной готовностью откликнулся на просьбу Рашида вместе прочесть тезисы доклада, подготовленные темы для научной конференции.

— Осенью намечается межкафедральный семинар хирургов,— пояснил Рашид.— Правда, точная дата еще не установлена — осень у нас горячая пора. Вся республика на уборке хлопка. В газетах первым делом ищем сводку с полей... Так я почитаю текст, а вы, пожалуйста, покритикуйте.

— Читайте. Я слушаю.

«Хоть бы еще что-нибудь неурочное!» — подумал Николай Михайлович, когда с обсуждением тезисов Рашида было благополучно закончено. Взглянул на часы, — половина третьего. Всего! До прихода Алеси — целая вечность.

— Зайдем сегодня в зал периодики, вы не против?— подошла Светлана.

— Ты о библиотеке? — не сразу сообразил Николай Михайлович.

— Разве мы договорились на сегодня? Знаешь, сегодня не выйдет.

— Почему?

— Оказывается, я дежурю.

— Жаль. Хотите яблоко? Антоновка, — Светлана достала из сумочки желто-зеленое яблоко.

— Пожалуй, перед антоновкой не устою. Давай пополам, держи,— Николай Михайлович разломил яблоко. — Ну и пахнет. Только антоновка так пахнет. Помнишь, у Бунина «Антоновские яблоки»?

— Я не читала... Знаете, раз так я тоже возьму сегодня дежурство, чтобы нам с вами не разойтись в библиотечном графике... Хорошо?

— А стоит ли?

Настал вечер. Отправив очередного больного на санобработку перед операцией, Николай Михайлович сел записать данные первичного осмотра. Квадратные часы на стене показывали без четверти десять. Санитарки кончали уборку.

Алеся не позвонила и не придет. Видно, устройство родственника в больницу не так уж обязательно. Может быть, все к лучшему.

— Побеспокою вас, доктор, — санитарка с щеткой стояла возле него.

— Да-да, пожалуйста.

Он встал, закурил и вышел через ту дверь приемного покоя, что вела во двор. Воздух темный и теплый. За воротами требовательно завыла сирена скорой помощи. Лязгнуло железо. В глубине двора несколько раз хлопнули двери. И снова все смолкло.

Николай Михайлович постоял немного у железной решетки. Она не пришла и не придет.

Он потушил окурок, вернулся в корпус и прошел в кабинет, где обычно устраивались на ночь дежурные врачи «с правом на сон». На кровати — комплект постельного белья. На столе — светлый круг от настольной лампы, графики под стеклом, настороженные черные рога двух телефонов. Он снял трубку и попросил операционную.

Светлана ответила, что больного готовят. Да, она тоже думает, что аппендицит. Если он хочет оперировать, она ему позвонит, но если устал, то не надо. Здесь есть два стажера-энтузиаста. Что? Не устал? Тогда минут через пятнадцать.

Он откинулся в кресле, открыл ящик стола. Кто-то

из дежуривших раньше оставил старый журнал. Он начал читать с сердцем какую-то полуфантастическую повесть о снежном человеке. И вдруг, не отдавая себе отчета, встал, отодвинул кресло и с книгой в руках вышел из кабинета — через коридор — на крыльцо, в темноту.

Увидев тень у ворот, сразу же понял, что это она, но не мог сделать ни шагу навстречу. Стоял на ступеньках, машинально вертя в руках «Снежного человека».

Вот она — его боль, его мука, его сокровище.

Она прошла в ворота и остановилась в растерянности, потом спросила о чем-то у вахтера.

Он по-прежнему не двигался. Она шла прямо на него.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Он почему-то повел ее не в свой кабинет дежурного врача, а предложил сесть в коридоре, у полутемного вестибюля, где стояли в ряд стулья амбулаторных больных и для посетителей.

Она медленно расстегнула пуговицу у ворота, сняла плащ и положила его рядом. Откидное сидение хлопнуло, и плащ сполз на пол. Они вместе потянулись за ним. Потом она молча, не глядя на него, подняла с плеч волосы, собрала их в пучок и заколола на затылке. Закатала рукава серого джемпера с обтрепавшимися краями и с сомнением посмотрела на свою юбку, с пятнами от краски и с дырочкой на кармане, прожженной сигаретой.

Он невольно следил за каждым ее движением. Эта внезапная и небрежная перемена прически, весьма «домашний» костюм, какой-то тяжеловесный старинный браслет, свободно скользящий по запястью, напряженное молчание... Ожидал ли он видеть ее другой?

— Коля, я пришла узнать, как положить сюда Павла? (неожиданно тот тонкий, «заданный», голос, которым она, бывало, отвечала уроки у доски). Кто он мне: шурин или деверь?

— Деверь, — сказал Николай Михайлович. — Для госпитализации необходима выписка из истории болезни, по возможности, подробная. Направление из поликлиники. Где он лечится?

— Не знаю. Он авиаконструктор.

— Сколько ему лет?

— Двадцать девять.

— Нужно собрать все анализы, рентгенограммы, все, что можно сделать амбулаторно. Это ускорит... Ты говорила, кажется, что у него что-то гастроэнтерологическое. Это просто предположение или... Давно?

Ответа не последовало... Она не слушает. Он — о болезни, а она... улыбается.

— Сегодня Павлик никак не хотел просить прощения у бабушки. Ужасно упрямый. Мама купила рассаду — анютины глазки...

Что за чепуха? Неужели сейчас время рассказывать о проделках детей? Он смотрел прямо перед собой в стену, выкрашенную бледной масляной краской, и ждал момента, чтобы снова заговорить о больном.

— Ты ведь знаешь, как мама относится к цветам? Ну, а Павлик научил Аленку оборвать все цветочные головки и отнести их к подвалу. Там будто бы живет чудовище, которое требует жертв...

Он посмотрел на нее: затылок, ухо под прямыми прядями волос — такие же, как много лет назад и много лет подряд, когда они сидели за партой, и он рисовал ее профиль, всегда левый, потому что она сидела справа от него. Прическа у нее теперь другая: много лишних прядей на лбу и на макушке. Кожа посмуглела.

— ...С Аленой пришлось спуститься в подвал и пока-

зать, что там нет никакого чудища. А от Павлика потребовали просить прощения. Я против этого, но знаешь маму...

Волосы у нее порыжели неестественно: наверное, подкрашены: значит, сын упрям? Что ж, есть в кого.

— ...И так и сяк — ни в какую...

Она обернулась к нему... Растерянность, ожидание, готовность...

Она ждала от него помощи, толчка, подсказки. Да, она права, о таких вещах, как болезни близких, нельзя говорить для отвода глаз. Стыдно разыгрывать беспокойства. И на ее растерянно-вопросительный взгляд он ответил:

— Твоего родственника пусть привезут, когда будет удобно. Я все устрою.

Вот и кончено. Ах, какие сложные переговоры! Какие тонкие рекомендации! Разве можно было согласовать все это по телефону?.. Николай Михайлович спросил:

— Ты видела «Голого короля» в «Современнике»?

— Да. Знаешь, чьи там декорации?..

Они заговорили о знакомых художниках... Модный спектакль в «Современнике» или снежный человек на Тянь-Шане — о чем угодно, лишь бы она была здесь. Он продолжал. Где она собирается провести лето? В Подмосковье? Ну да, понятно, на даче, с детьми. Скоро пора выезжать, совсем тепло, особенно после грозы. Она подхватила, да, скоро на дачу, но придется немного задержаться и детей с мамой отправить пока одних. Дело в том, что она запорола обложку по заказу «Советской России», все из-за этих проклятых шрифтов, никогда они ей не давались! Зато прошел плакат в «Рекламфильме».

— ...Ну, а ты?

— Теперь — в хирургии. Оперирую понемногу. Собрался поступать в аспирантуру...

Ему было хорошо. Говорили о разном, но упоминать Валю и Вадима почему-то избегали.

Боже мой! Как все эти длинные годы было пусто и серо. Как можно было жить, не видя ее? Нелепо не то, что она пришла, а то, что она так долго не приходила.

Длинный ряд стульев, синеватый свет, бледная стена и — особая тишина заснувшей больницы. Полусон. Вдвоем на необитаемом острове.

Пришла санитарка звать на операцию. Он просил передать, что занят, пусть ассистирует стажер.

— Подожди еще, — сказал он Алесе, — все равно мне надо идти через полчаса, тогда и ты уйдешь.

— Ты меня прогоняешь?

— Уже поздно. А тебе еще добираться. Ты по-прежнему на Плющихе?

— Угу. Хотела было меняться, но как-то заглохло. Заглянул бы как-нибудь...

— А помнишь, как ты меня выгнала двенадцать лет назад?

— Я? Это тебе померещилось!

— Померещилось? Н-не знаю. Может быть. Скажи, ты рассказала обо мне Вадиму?

— Да.

— Что же?

— Сказала, что ты был моим первым мужем, что мы разошлись... Что видимся иногда. Много общих знакомых. Разве не так?

— Приблизительно... В которой же из комнат — там, на Плющихе, — ты теперь обитаешь?

— В угловой. Где был папин кабинет. Помнишь? Она самая уютная. В войну, когда плохо топили, мы все в ней жили. Даже Анита. Я писала тебе письма. Полевая почта 10307. Краснофлотцу Николаю Рославлеву... На пианино стояла твоя фотография. В бескозырке.

— А я отвечал: родная моя Алеся...

— Давно и неправда?

— Почему неправда?

— А что?

— Ладно, уходи! Поздно.

Она встала, накинула плащ.

— Ну, пока!

— Угу.

Ни слова о будущей встрече. Он не провожал ее, стоял на крыльце и смотрел, как она уходила в темноту.

Машины за воротами проезжали реже. Темнота сгустилась, стало холоднее.

«И как-то весело и плакать хочется».

Да, она ушла в темноту — туда, в общий поток пешеходов и машин, в круглосуточную суету большого города. Он отпустил ее, но он же опять и вызовет ее из темноты... если захочет.

В приемном покое тихо, больных нет. Нянечка сладко зевает, прикрывая рот рукой:

— Хорошенькие какие дамочка. Это жена ваша?

— Нет. Сестра... двоюродная.

Поднялся на второй этаж в операционную.

— Что еще осталось, Светлана?

— Аппендицит и резаная рана предплечья.

Работать! Больше, скорее! Он будет работать, как никогда раньше. Он засучил рукава, открыл кран и сказал:

— Иди спать, Светлана, я один справлюсь.

IX

Заседание Общества состоялось в начале июня. Николай Михайлович распростился с приемным покоем и работал теперь только в отделении Немцова.

Николай Михайлович и Рашид Ходжаев по традиции докладчиков пришли пораньше. Вся правая половина аудитории, более удаленная от трибуны, еще пусто-

вала. Слева значительную часть составляли врачи клиники Полосухина.

Все страдали от жары, невольно тянулись к раскрытым окнам, за которыми виднелась зеленая пелена свежей, но уже густой листвы, в серо-голубых июньских сумерках.

— Привет, Николай! Привет, Рашид! Волнуетесь? Света! Сюда! — Антонина Клокова махнула рукой Светлане, задержавшейся у дверей.

Светлана подошла, поздоровалась. Антонина взяла ее под руку и спросила у Николая Михайловича, прорепетировал ли он сегодня свой доклад, сколько раз. Главное, как звучит голос и не превысить регламент.

— Костюм у тебя отличный, — похвалила Антонина, — я даже не представляла, что ты можешь быть таким элегантным.

— Где президиум? Где Иван Алексеевич? Почему не начинают? — глухо спросила Светлана.

— Ты как Анна Каренина во время скачек,— усмехнулась Антонина и лукаво оглянулась на группу у окна, в которой стоял Прокапюк.

Наконец за столом президиума появился Полосухин. Вполголоса посоветовавшись о чем-то с докладчиком из института имени Вишневского, он объявил повестку и передал права председателя профессору из Ленинграда.

Пока шли первые проблемные доклады, в аудитории стояла тишина, но когда начались клинические сообщения с демонстрацией больных, то возникли оживленные, хотя и преждевременные, прения, что заставило председателя подняться с места и постоять минуту-другую с безмолвным укором.

Николай Михайлович прочитал текст деловито и монотонно, уложился в положенные ему десять минут и перевернул последний лист как раз в тот момент, когда председатель встал с намерением напомнить про

регламент. Ему, как и предыдущим, слегка похлопали, и председатель напомнил собранию, что вопросы докладчикам можно задавать как устно, так и письменно.

«Свои» поздравили Николая Михайловича шепотом и стали слушать и рассматривать поднявшегося на кафедру Рашида.

Николаю Михайловичу подали записку. Незнакомый ему врач интересовался методикой подхода к пораженному участку. Значит, уловили! Николай Михайлович сунул записку в карман, почему-то волнуясь теперь гораздо больше, чем перед докладом.

После Николай Михайлович не мог не признаться себе, что никогда в одиночестве ему не приходило в голову столько мыслей, нужных и интересных, как тогда, когда его критиковали, поощряли, одобряли, а он критиковал или одобрял других.

Вечер решили провести у Осипа Петровича Немцова. Прихватили с собой председателя, профессора-ленинградца Викентия Федоровича. Немцов проводил семью на дачу и жил сейчас на холостую ногу. Не обошлось без сюрприза. Им оказался великолепный узбекский плов, который загодя приготовила Лилия Витальевна, после подробнейшего инструктажа Рашида.

Полосухин сказал:

— Неделю или две назад дирекцией больницы рассматривался вопрос о вынесении нашему досточтимому хозяину административного взыскания. «На вид», кажется? Так, Осип Петрович? За ошибку, допущенную в кадровом вопросе: Осип Петрович самолично и безосновательно урезал штаты приемного покоя...

— Было, было... — Осип Петрович без промаха извлек из вазочки с грибами несколько темно-коричневых «шляпок» и аккуратно пристроил на тарелку Лилии Витальевны.

— ....Но оказывается, потенциальное «на вид» может

обратиться в благодарность, — неожиданно заключил Иван Алексеевич. — Мы были свидетелями столь чудесного превращения сегодня, когда слушали доклад Николая Михайловича Рославлева.

Слово попросил Рашид Ходжаев:

— Прохождение курса дружбы, взаимопомощи, доброжелательства не отмечается в ординаторском дипломе, — начал Рашид, — но именно такую подготовку, помимо хирургии, я получил на кафедре Ивана Алексеевича. Хороший узбекский поэт Максуд Шейхзаде сказал: «Мы создали уйму разумных машин, Немало сдалось нам туманных вершин: В делах наши руки, в раздумьях — умы; Наш дом — вся планета, Хозяева — мы! Живи ради Жизни — таков наш приказ; Умны наши руки, а ум наш рукаст. Мы — дочери Жизни, ее сыновья, Наш бог — не на небе, Он — ты или я; Он словом зовется одним — Человек, Великий создатель Аллаха и Мекк, Писатель чудесный: ведь в книге его — Добро и Надежда — превыше всего!».

— Хорошо сказано! — подхватил Осип Петрович. — В жизни есть кое-что еще, кроме счета «разумных машин». В жизни, друзья мои — художество, цифрами его не выразить. Добро и надежда, о которых сказал поэт, не поддаются вычислению...

— За счет плюс художество! — сказал Прокапюк.

Незаметно перешли к импровизированной самодеятельности. Ленинградский профессор и Лилия Витальевна дуэтом исполнили романс «Не искушай». Рогачев и Климов предложили вниманию зрителей новомодный полуакробатический танец, сочиняя на ходу уморительные пантомимы. Антонина и Прокапюк с чувством спели: «Эх, ты, удаль молодецкая!, Эх, ты, девичья краса!».

— Тряхнуть, что ли, стариной? — Осип Петрович жестом попросил расширить круг для танцев, — Пет-

ровна, — поклонился он Светлане, — не откажи Петровичу!

Светлана растерянно поднялась из-за стола.

— «Цыганочку»! — скомандовал Осип Петрович.

— Разве бывают белокурые цыганки? — усомнился Рашид.

— Белокурые цыганки — самый шик! — убежденно заверил Климов.

Им аплодировали. Осип Петрович расцеловал разгоряченную Светлану в обе щеки.

Кто-то затянул: «Ты моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет».

Рославлев молчал. Вспомнились вдруг совсем другая обстановка и другие люди, с которыми пел эту песню много лет назад. Вспомнились Ленинград сорок второго года, корабль, война, юность. Стараясь не привлекать внимания, он вышел из-за стола.

«К чему эти поздравления и весь этот ажиотаж? Зачем Осип Петрович и Полосухин выставили его напоказ? Здесь, за праздничным столом, он, «герой дня»— удачливый докладчик, вторит жизнеутверждающим речам.

А шофер Святослав, которого он оперировал, все еще в реанимации... А мог бы лежать в общей палате, если б оперировал настоящий мастер, а не ремесленник.

Он позвонил в реанимационное отделение. Дежурный ответил, что больному лучше, капельницу сняли...

«По морям—морям, моря-ам, — нынче здесь, а завтра там!».

Николай Михайлович вздохнул полной грудью. Рука снова потянулась к телефону:

— Алеся?

— Коля? Ты?

— Чем занимаешься?

— Сматываю удочки, — она засмеялась, — в прямом смысле: на дачу! Ты где?

— На Метростроевской.

— Я еду в Вялки. Хочешь, по пути, ну, не совсем по пути, завезу тебя домой? Посмотришь, как я вожу машину.

— Я не знаю, Алеся...— тут у нас веселятся. Не знаю, удобно ли будет уйти.

— Смотри сам. А что за веселье?

— Так, экспромтом. Было общество... Хирургическое. Выступали. Я доклад делал.

— Сейчас половина десятого,— прикинула Алеся,— я буду около половины одиннадцатого. Придешь так придешь, нет — так нет. На стыке Кропоткинской и Метростроевской...

Николай Михайлович вернулся в столовую. Рогачев и Калабин замышляли еще номер, но Полосухин встал и заявил: «Пора по домам. Завтра операционный день».

— Где Володя? — спросил Николай Михайлович, подавая Светлане плащ.

— Не знаю, — Светлана опустила голову.

— Есть такая детская игра. Интересная. «Третий — лишний» называется, — ни к кому не обращаясь, сказал Кока Климов, проверяя перед зеркалом узел своего галстука.

Светлана шагала рядом. Рославлев посмотрел на нее как бы издалека, будто пытаясь вспомнить, о чем она говорила, как надо ответить, чтобы поддержать разговор. Покосился, как на чужую, на свою руку, поддерживающую локоть Светланы.

Мимо проехала машина. Николай Михайлович ни разу не видел Алесиной машины, не знал ее номера. Неожиданно для себя он решился.

— Ты не обидишься, Светлана, если я тебя покину? Прямо сейчас? И не буду объяснять, почему?

— Конечно, нет.

Он не стал раздумывать о том, что означал ее взгляд, и увидит ли она, как он садится в машину. Не все ли равно? Согнувшись, он опустится на мягкое сидение рядом с Алесей.

— Привет!

— Захлопни получше!

Дверца щелкнула, и машина рванулась.

— Что за спутница? — короткий кивок, напряженный взгляд — взгляд водителя. Он посмотрел на темную улицу за стеклом. Светлана осталась где-то там.

— Это аспирантка из нашей клиники, — хмуро ответил он, — Светлана Петровна Санина.

— Ага, Светочка. Кажется, она дежурила, когда я к тебе приходила?

— Возможно.

— И часто вы с ней дежурите?

— Иногда. Брось молоть чепуху!

— Еще не успела смолоть. Значит, с Клином покончено?

— То есть?

— Клин клином вышибают, так всегда... О чем же ты докладывал на обществе?

— О дифференциальной диагностике...

Она деланно поперхнулась.

— Странно, я говорил, а ты поперхнулась!.. Останови у Никитских.

Она ничего не ответила. Машина неслась, не снижая скорости.

— Вот ты надулся, что я не выразила уважения к твоей хирургии, развязно сказала о Клине, пошутила над Светочкой... А я нарочно. Мне любопытно знать, что у тебя есть дорогого. Правда, я и ревную тут же. — Она затормозила у перекрестка. — Между прочим, Павел, мой деверь, закончил, наконец, свою работу и

на днях ляжет обследоваться к вам в больницу. Сможешь побыть с ним во время приема? Все-таки легче, если кто-то свой рядом.

— Конечно.

— Спасибо. Ну? Едем в Вялки?

— Смеешься?

— Ладно. Пусть не сейчас, но я тебя обязательно свезу на дачу. Там прелесть! Забудешь про свою... дифференциальную диагностику. И мой дом ты должен посмотреть. Он у меня в сказочно-русском духе. Печь с изразцами. Стол, кресла расписала сама. Свечи, самовар... даже домовой. Вижу, молчишь и думаешь, мол, бесится с жиру... Мама будет очень рада тебя увидеть. Ты в среду когда кончаешь?

— В три.

— Жди, я заеду.

Пушкинская. Трубная. Опять бульвар.

— Хорошо я веду машину?

— Алеся, пора!

Она усмехнулась.

— Остановись на Покровке.

Она проехала Покровку и круто свернула в какой-то переулок.

— Хорошо я вожу машину?

Он завел левую руку за ее спину и с силой сжал баранку.

— Ты с ума сошел!

Она вздрогнула, но не затормозила, не изменила позы, не попыталась высвободиться из кольца его рук. Все так же упрямо смотрела вперед. Машина неслась.

«Это ты сошла с ума», — подумал он, чувствуя под рукой жесткую холстину ее платья и щекочущие волосы у щеки. Вот так лететь бы ко всем чертям, в никуда!..

Он выхватил ключ зажигания...

Алеся обернулась.

Он отодвинулся к дверце и деланно равнодушным голосом спросил:

— Что это на тебе надето? Хитон какой-то.

— Это холст, обычный холст. Правда, здорово? Тебе нравится?

— Нравится.

— А я нравлюсь?

— Алеся, не надо.

— Тогда уходи.

Он вышел из машины.

— ...Вот больной Глазырин. Вы, кажется, интересовались?

Перед Николаем Михайловичем на узкой кушетке приемного покоя сидел совсем молодой человек, большой, послушный, стеснительный. Бритая голова, пробивающийся сильными завитками русый ежик, такого цвета чуть проступившая борода... Мигом представилась со всей четкостью та младенческая фотография Алесиного сына, которую видел всего один раз: крупный здоровый мальчик, светлокудрый и светлоглазый. Между прочим, тоже Павел...

Глазырин признался, что рад видеть Николая Михайловича.

— Знаете, — покраснел Глазырин, — эта гастроэнтерология (будь она проклята, извините!) — такая штука, что часто бывает стыдно задать лишний вопрос и по самой болезни, и по процедурам. Угораздило же схватить немощь в такой неэстетичной сфере! Нет бы, что-нибудь благородное, сердечно-сосудистое, какую-нибудь подагру — на худой конец! — кончил он с улыбкой.

— Да, если б можно было болеть по заказу... — согласился Николай Михайлович.

Он расспросил Глазырина о профессии, о семье.

Павел Глазырин был авиаконструктором. Жена — пианистка. Детей нет. Мать живет в Сибири в семье сестры. Отец погиб на фронте. Он много лет живет у брата, на его глазах родились племянники. Теперь, когда он сам женат, они с братом как-то не думают о разъезде. Жены в дружбе. Общая дача в Вялках.

— Алю я знаю лет уже тринадцать-четырнадцать... О вас слышал. Даже заходил один раз к вам на Собачью площадку.

— Как так? — Николай Михайлович прервал запись в истории болезни.

— Позвать спасти Аниту.

Глазырин замялся, опустил глаза.

— Когда это было?

— Давно. Павлик был еще колясочный. Аниту парализовало во время прогулки. Аля втащила ее домой по лестнице — знаете дом на Плющихе? — на руках. — Глазырин посмотрел на ручку Николая Михайловича, будто ждал, что это тоже запишут в его анамнез. Дома Аля плакала, умоляла, чтобы Аниту не выдавали на убой. — Глазырин провел рукой по стриженой голове. — Просила найти вас — Колю Рославлева. «Он теперь в медицинском, что-нибудь придумает». Я пошел на Собачью площадку, но не застал вас. В тот же вечер Анита сдохла. Мы с Алей завернули ее в одеяло и ночью зарыли под деревом, у школы... Простите, я вам, наверное, мешаю, отвлекаю.

— Нет-нет. Хорошая была собака. Повернитесь, пожалуйста, к свету, я взгляну на ваши склеры. Вот так. Желтухи не было?

Николай Михайлович выстукивал, ощупывал... Перед ним был почти идеальный тип, правда, исхудавший, но еще в спортивной форме, в расцвете молодости и силы. И Николай Михайлович не мог признаться себе, что он,

врач, заведует этому симпатичному молодому человеку с открытым взглядом, всему этому семейству, частью которого стала Алеся.

— Лягте, пожалуйста, на правый бок. Так больно?

В среду он ехал с Алесей в автомобиле.

— Смотри какая береза!

— Да, как буква «Ч».

Подъехали ближе. Машина застряла посреди поляны. Пришлось вылезать и доставать домкрат.

Пока он возился с домкратом, Алеся отправилась собирать ветки, чтобы подложить их под колеса.

— Посмотри, хватит столько?

— Я не вижу.

Их разделяла машина.

— А ты подойди и посмотри.

На ней была бледно-голубая мужская рубашка с засученными рукавами. Черные волосы растрепались, лицо бледно. Он подумал что вот так, наверное, смотрят перед смертью — без воспоминаний, без надежд.

— Да, я думаю, хватит. Только их надо теперь наломать. — Он опять занялся домкратом.

Она сломала о колено толстую ветку, обошла машину и положила руку на железный рычаг, рядом с его рукой.

— Поцелуй меня один раз. Последний.

— Пусть последний, но не надо об этом говорить.

Сочная молодая зелень. Синие колокольчики и далекое «ку-ку»...

Дальше — дальше от опушки, от березы, похожей на букву «Ч»... От застрявшей машины...

И будто не было между ними ни этих двадцати лет, ни войны, ни его бегства, ни ее мужа и детей...

Весна — торжествующая и пьянящая, мимолетная и вечная.

Где это было? Во всяком случае, где-то по дороге в

Вялки, ведь она собиралась показать ему детей и дачу.

Но ни он, ни она не вспомнили о Вялках, когда машина неслась по шоссе обратно в Москву.

— Который час? — спросила Алеся.

Николай Михайлович посмотрел на свои часы-компас:

— Стали. Помнишь, как мы вместе покупали эти часы, когда я вернулся после демобилизации?

— Да.

Он тщательно старался соединить в одну цепь обрывки мыслей о том, что же теперь будет и нужно ли что-нибудь объяснять. Он думал, а машина неслась, и все ближе становилась Москва. И так же как убегала дорога, убегало и то, что надо было, наверное, понять и решить. Мелькнули часы на перекрестке.

— Бог мой! Уже половина седьмого. — Губы Алеси дрожали. — Я давно должна быть дома.

— Ты больше не поедешь со мной?

Она переключила скорость.

— Ты мог бы спросить по-другому: поеду ли я с тобой еще.

Но он не спросил, и она не ответила. Началась Москва.

Остановились у Калужской.

— Пойду? — спросил он и взял ее за руку.

— Да... Что мы наделали!.. Что мы наделали! — Она стиснула его пальцы, тело ее вздрагивало.

— Ш-шш, — я же не смогу оперировать, — он осторожно высвободил руку, стал гладить ее плечо, волосы.

— Дома, наверное, думают, что я разбилась, — глухо сказала Алеся, — надо позвонить. Вот автомат. Подожди меня.

Вернулась она нескоро и какой-то совсем чужой. Доехали до Серпуховки.

— Твоего родственника положили в терапию. Пока

ничего определенного, — начал Николай Михайлович.

— Я знаю. Еще вчера, от Наташи, — отозвалась Алеся.

От Серпуховки проехали до Павелецкого. Он открыл дверцу и вышел на тротуар. Она тут же уехала.

Рославлев брел по бесконечно длинным московским улицам, шел куда глаза глядят, машинально переходя дорогу на перекрестках. Было жарко и пыльно.

«Конец! как звучно это слово, Как много-мало мыслей в нем...».

X

С раннего утра шел мелкий дождик. С Валей прощались на вокзале. Поцеловал — лицо ее мокрое.

— Чтобы все было хорошо. Главное — будь здоров!

Она увозила с собой его прошлое. В Фергану. Там загорится очаг, где ему всегда будут рады, если он захочет погреть руки над огоньком. Но Фергана дальше Клина...

Николай Михайлович опоздал на пятиминутку. Дебаты по распределению обязанностей в период летних отпусков еще не кончились.

— ...Остался последний вопрос, — сказал Осип Петрович. — Хирургическое вече просит вас, Николай Михайлович, на время моего отсутствия принять власть над отделением, если, разумеется, это не нарушает ваших летних планов... Сознаюсь, очень бы мне хотелось ухватить кусок июня, ранние зорьки, побаловаться с удочками.

У Николая Михайловича не было на примете ничего определенного на ближайший период, дела с аспирантурой пока не прояснились, и он был рад, что может

отпустить Старика на солнышко, на рыбалку, до которой Немцов, известно, большой охотник.

— Стало быть, с понедельника, — заключил Осип Петрович, — и попрошу вас принять от меня соответствующие регалии.

Николай Михайлович согласно кивнул.

Прошли в тот самый кабинет, где три месяца назад Старик «сжег его лягушачью шкуру».

— Вот тебе ключи, — сказал Осип Петрович, ознакомив Николая Михайловича с содержимым сейфа. — Как видишь, мудреного ничего нет... Порядком ведает здесь Дарья Степановна, — Осип Петрович сделал поклон в сторону санитарки, которая поливала цветы на окнах. — Сия же сударыня следит за зелеными питомцами, видишь, сколько она их здесь развела — и все в лучшем виде.

— У меня для них специальный подкорм, — откликнулась Дарья Степановна, — оттого и лист не жидкий, а наливной...

— А я, брат, подамся сначала на Оку. Есть у меня там тихая заводь, местечко, обжитое, апробированное. Снаряжение мое невелико...

— Поменьше бы ты, Петрович, возился в холодной воде, в твои-то годы! — заботливо-фамильярно, по праву долгих лет совместной работы, вмешалась в разговор Дарья Степановна. — А то, откуда ни возьмись, радикулит, полиартрит! Руки-то береги пуще всего, а то как вступит в пальцы, оперировать не сможешь...

Осип Петрович как-то обескураженно посмотрел на свои руки, отмахнулся.

— Не каркай, Степановна! Небось и сама бы не прочь почистить речную рыбку для свежей ушицы, хоть бы и в холодной воде!

Распрощались с пожеланиями здоровья и благополучия.

— Послушай, — остановился у дверей Осип Петрович, — там, в шкафу, у меня резиновые перчатки. Любимые. Передай ты мне, пожалуйста... в нижнем ящике. Не хочу переступать порога обратно. Улова не будет!

— Эти?— Николаю Михайловичу показалось, что Старик как-то странно скособочился у дверей... Сердце?.. Спросить? Рассердится.

— Вот спасибо! Ну, чтобы все было в аккурате! До скорого! — бодро сказал Осип Петрович, сделал прощальный жест рукой и пошел по коридору.

В ожидании оперирования Николай Михайлович взял у сестры общую коробку с анализами, отобрал все, что касалось его больных, и стал разносить по историям болезни. Одновременно думал о личном... От Алеси — ни слуху ни духу. Было не по себе от этого молчания, но и не хотелось звонить самому. Инициатива здесь принадлежит ей. А она... Ясно одно: детей и мужа она никогда не оставит... Никогда не пойдет на тайную связь.

Он знал из чужого опыта, что существуют отработанные формы размеренного «нелегального» общения, не мешающего внешнему семейному благополучию, но представить себе такой вариант отношений с Алесей не мог. Это исключено. Перейти на чисто дружеский контакт? Остается, по мере возможности, избегать встреч с нею, не пытаться предугадать случайности, положиться на течение жизни.

После того случая в лесу казалось: конец! Но как быть, если она совсем рядом? Если существует вполне невинный повод для звонков и встреч — Павел Глазырин? Надо бы навестить его.

На другом конце ассистентской, низко склонившись над столом, сидел Прокапюк — понурый, погруженный в свои мысли.

Рославлева позвали на операцию. В предоперационной он увидел Светлану. Николай Михайлович засучил рукава, взял мыло.

— Вы не идете в отпуск? — не глядя на него, скороговоркой спросила Светлана.

— Пока нет. А что?

— Так, ничего.— Она тщательно терла руки щеткой.

— А все-таки? — Он вспомнил, что уже давно не встречал ее прямого серо-синего взгляда. Ну да, с того самого вечера она избегала разговоров наедине.

— Просто мне показалось, что вы... нездоровы. Превозмогаете что-то. Переутомились.

— Ты проницательна. Но на этот раз ошиблась. Я чувствую себя, как молодой бог, — усмехнулся Николай Михайлович.

Несколько минут был слышен только шум льющейся из двух кранов воды.

— Извините.

— Нет, ты извини. Мне, правда, нелегко. Но дело не в здоровье. И вообще...

— Что?

— Видишь ли, наши отношения в последнее время...— ему были неприятны свои слова и голос, но он упрямо продолжал, заметив как напряглись ее пальцы под струей воды.— Не сердись. Просто я чувствую, что в долгу. Но... ничего не смогу тебе дать.

— Какой долг? Мне, может быть, одной той вашей «теплой, как кровь, воды Фонтанки» на всю жизнь хватит.

— Что-о?

— Спирт! — Светлана вытянула вперед и вверх вымытые руки.

— Давай отложим до вечера, раз уж ты вспомнила тот разговор.

Она посмотрела на него прямо и ясно, чуть улыбнулась, бросила смоченный спиртом тампон — и кивнула. «Ну вот и все. Славно»,— он не спеша домыл руки.

— ...Ну, как ваша операция? Порядок? Сработались? — встретил их Прокапюк, когда они вернулись в ассистентскую.

— Что-то душно сегодня. И дождик не помогает. — Светлана подошла к окну.

— В столице Петербурге на площади Сенной венчался сын купецкий с дворянкой молодой...— затянул Прокапюк.

— Не хватает шарманки, — сказал Николай Михайлович.

— А вы подтяните, — Прокапюк углубился в разглядывание рентгенограммы. — Но только стали гости сходиться у крыльца, с другим она бежала, не сняв с себя венца!

— Кончай, Володя, — сказала Светлана.

— Кончать, говоришь? Есть. Кончу. — Прокапюк засунул в конверт рентгеновский снимок.

Им было неловко втроем. Светлана молча начала собирать свою сумку. Из нее выскользнуло маленькое зеркальце и разбилось. Мелкие осколки молча собрали втроем.

— Помните, как весной, тоже после операции, мы пили кофе со Светланиными пирожками? — спросил Николай Михайлович.

— Ох, что же это я! — театрально стукнул себя по лбу Прокапюк. — Простите великодушно. Не сообразил раньше! Один момент! — Он бросился к столику, на котором стояли чайные принадлежности. Стаканы, блюдца, ложки замелькали в его руках. Разлил остывший кофе, расшаркался и раскланялся в обе стороны:

— Прошу! Кушать подано!

— А ты? — Светлана посмотрела на него исподлобья.

— Благодарю покорно. Я уже пил. Теперь и вам необходимо подкрепить силы, — в голосе проскользнула горькая ирония.

— Я не откажусь, — натянуто улыбнулась Светлана, надкусила сахар, глотнула кофе и закашлялась.

— Не ври! Не умеешь! — выкрикнул Прокапюк.

— Что с тобой? — Светлана растерянно вытерла платком губы.

— Эх, Светка, Светка! — Прокапюк отбросил стул, подошел к ней вплотную. — Хочешь мирным путем совершить решительный переворот? Не выйдет, детка! Душевные перевороты тоже кровавые, тоже требуют жертв... Пойдем куда-нибудь! Только — пардон! — вдвоем, а не втроем!

— Пойдем!— Светлана встала из-за стола.

— Эх, раз, еще рааз... — надрывно пропел Прокапюк, стягивая с себя халат. — Ну-сс... Жду!

— Я готова!

— Честь имеем, Николай Михайлович! Счастливо оставаться! Адью! — Прокапюк оглянулся, пропуская Светлану вперед.

В одиночестве Николай Михайлович допил холодный кофе, потом потянулся к телефону...

— Алло! — ответил мужской голос, спокойный, чуть усталый.

Николай Михайлович знал, что может подойти Вадим, и все же замешкался. Пока клал трубку, в ней рокотали слова. Было стыдно, унизительно... Вместо слов — пустой горький глоток.

Вошла санитарка Дарья Степановна. Пристроила в холодильник бидон.

— Хотите кваску? — предложила она. — Купила для окрошки. Свежий.

— Спасибо.

— Сегодня у них решится. — Дарья Степановна сложила блюдца и принялась осторожно сливать остатки кофе из всех чашек в одну, будто собиралась гадать на кофейной гуще.

Николай Михайлович вопросительно посмотрел на нее.

— Светлана Петровна этак головку нагнула, как коза бодучая, а Владимир Яковлевич дверью стукнул... Не склеится у них.

— Почему?

— Почему? — Дарья Степановна улыбнулась, дождалась, наконец, вопроса, и не спеша села за стол напротив. — Я давно примечаю. Не слепая. Все на один манер толкуют: надо соглашаться — человек хороший, врач, ученый. Не согласится — скажут: испугалась, характер-де у него трудный, выпивает... собой не красив. Не в этом дело! — Дарья Степановна махнула рукой.

— А в чем?

— Вот я про себя скажу, — издалека начала Дарья Степановна, — Гриша мой погиб на войне. Мне тогда еще и сорока не стукнуло. Было... Сватались за меня... Сестры ругали: упускаешь, дура, свое счастье. Одна ведь. Трудно... Свекровь, наоборот: ты, мол, Даша, святая, что так Грише верность хранишь... А вот, ни то и ни другое. Какая же святая? Святая-то, пожалуй, и пошла бы: скрасить жизнь человеку. Из благодарности... А что по дурости свое счастье отвергла — тоже не так. Мое счастье с Гришей было. Не заменишь. Гришу-то я сама выбрала... Вот и Светлана Петровна: ее выбрали и чай не в первый раз. А ей мало: она сама выбрать хочет! По милу хорош. А Владимир Яковлевич хорош, да не мил.

— Сложно это, Дарья Степановна. У всех по-разному.

— По-разному,— согласилась Дарья Степановна,— да ведь и похожее встречается. Я вот Светлану-то Петровну поняла. А другие — не знаю. Может и осудят.

На следующее утро Николая Михайловича срочно вызвали в операционную по требованию Полосухина.

В операционной была абсолютная тишина. Намыливая руки, Николай Михайлович как ни гадал, не мог додуматься, почему вдруг понадобилось его участие в плановой операции, которую делают два таких мастера, аса, как Полосухин и Прокапюк. И только у операционного стола заметил — нет Прокапюка.

Полосухин собственноручно завязывал узлы, что обычно доверялось учащимся на самых первых порах. Стажеру, стоящему на подхвате, почти ничем не удавалось помочь. Сестра подавала инструменты. Увидев Николая Михайловича, Полосухин слегка кивнул.

Операция прошла гладко, удалось даже наверстать то время, которое было израсходовано вначале на тщетное ожидание Прокапюка, и следующая операция прошла без нарушения графика.

В ординаторской Антонина шепотом сообщала последнюю сводку об исчезнувшем:

— Вечером в общежитии не появлялся. В комнате следов выпивки нет... Если у друзей, то у кого?

Рашид добавил, что по его сведениям, Прокапюк сдал домашнюю утварь и ключ от комнаты коменданту общежития и попрощался.

— Кто последний видел его вчера в клинике? — спросил Рогачев.

— Постой, вы ведь, кажется, вместе собирались куда-то отправиться? — спросил Николай Михайлович у Светланы.

Светлана сидела за своим столом и сопоставляла какие-то клинико-биохимические формулы.

— Мы расстались около шести вечера.

— Эта знает, — шепнула Антонина Николаю Михайловичу, — чувствую, что знает. Поговори с ней.

— Может быть, — сказал Николай Михайлович.

— Был бы только жив, — вздохнула Лилия Витальевна.

— В моргах ничего похожего не зарегистрировано,— отрапортовал Рашид.— Если бы произошел несчастный случай, за такое время нам бы уже было известно. Я считаю, если Володя решил уехать, значит так надо. Я верю. Вот только на операцию зря не пришел.

— Ничего не понимаю. Остается ждать, — резюмировал Рогачев.

Зазвонил телефон. Николай Михайлович снял трубку.

— Приветствую хирургическую братию,— пророкотал Жора Аванесов.— Это ты, Николай? Позови, пожалуйста, Прокапюка.

— Его сегодня нет, что-нибудь передать?

— Редакторы тут поминают его некоторыми ласковыми словами, за ним верстка...

«Найдем и пришлем»,— беззвучно подсказали Светланины губы.

— Все уладим,— обещал Николай Михайлович.— Мы думали, что ты уже купаешься в море. Удачного отпуска!

К концу рабочего дня дежурная сестра вызвала Николая Михайловича для беседы с родственниками больного. Расположились в холле.

Речь шла о диете после удаления желчного пузыря. Подошла Светлана, постояла рядом, потом села за общий стол и стала молча и внимательно слушать диетические рекомендации.

«Эта знает», — вспомнил Николай Михайлович слова Антонины; на Светлане глубоко, до самых бровей, была надвинута и туго стянута хирургическая шапочка: слишком плотно, по-новому, сжаты губы; сине-серые глаза сегодня казались еще больше на осунувшемся, побледневшем лице.

— Когда я был маленьким, — сказал Николай Михайлович,— и, бывало, молча начинал увиваться подле мамы, она спрашивала меня: «Скажи, Коля, тебе ничего не хотелось бы рассказать мне?..» Тебе ничего не хочется рассказать мне, Светлана? Что-то ты невеселая... Ты знаешь, что с Володей?

— Не знаю, но предполагаю, — Светлана машинально терзала авторучку, свинчивая и развинчивая корпус. Он уехал из Москвы. Где-нибудь устроился. — Ручка хрустнула в ее пальцах.

— Что Володя сказал тебе?

— Что мы больше никогда не увидимся. Я думаю, он даст знать, когда уже точно где-нибудь закрепится и приехать обратно будет нельзя.

— Расскажи подробнее, если можешь, конечно. Тебе станет легче.

Светлана отрывисто вздохнула.

— На первый взгляд, ты и Володя — такие разные... Но я понимаю, именно он и мог угадать тебя.

— Сначала не доверял, потом стал откровеннее, — хрипло начала Светлана и откашлялась. — Рассказал мне то, что известно немногим. По официальной версии, Володя потерял родителей во время войны и воспитывался в детском доме, как и его сестра. На самом же деле отец его пропал без вести. Какими-то путями стало известно, что он расстрелян за то, что якобы выдал партизан. А мать отказалась воспитывать «детей предателя»...

В детской колонии Володя рос под чужим именем.

Уже после войны выяснилось, что партизан выдал другой, а Володин отец умер героем. Володя узнал, что может гордиться отцом. Представляете, сколько он пережил? Он узнал тоже, что мать жива, живет в Москве, у нее другая семья. Он к ней не пошел.

— Володя гордый.

— Да-да, вы правильно сказали, конечно, гордый! Но весь какой-то изломанный: то отзывчивый, добрый, то грубый. Самолюбивый до ужаса! Бывали у него срывы... Мне как-то удалось добиться, что Володя бросил пить... Так было хорошо! Он каким-то чудом, в небывало короткие сроки закончил докторскую, почти не выходил из клиники... Иван Алексеевич считал его талантливым и многое прощал ему... Володя — настоящий ученый, — уверенно продолжала Светлана, — вся жизнь его в общем-то в работе, хотя он для красного словца и рассказывает разные приключения на рыбалке да на охоте. А я сомневаюсь, умеет ли он стрелять из ружья.— Светлана улыбнулась доброй теплой улыбкой.— Когда нужно было его успокоить, стоило только перевести разговор на хирургию. Тут у него были, как он называл, большие мечты. Я оказалась подходящей слушательницей — для критики у меня не хватало подготовки, зато доверие было полное. Наши беседы выходили далеко за рамки аспирантского учебного плана... Так вот и получилось, что Володя стал нуждаться во мне, — Светлана разгладила лежавший под рукой чистый лист бумаги и машинально сложила его вдвое, вчетверо. — Все считали, что у нас мир и лад. Володя, и правда, бывал иногда такой ласковый. И к другим сделался мягче, терпеливее... И в то же время тяготился — именно с тех пор, как... И чем дальше, тем больше...

— Ты бы вчера с ним поосторожнее. А то, наверное, отбрила... Вернется — помиритесь! — сказал Николай

Михайлович как-то сдавленно и совсем некстати, что Светлана чуть поморщилась.

— Володя говорил, что его оскорбляет моя дружба, он рассчитывал на иное чувство. И очень мучился, когда понял, что взаимности не будет. — Она вдруг замолчала, с тревогой посмотрела на Николая Михайловича. В глазах было сомнение, вправе ли она рассказывать.

— Да. Понимаю. — Николай Михайлович кивнул. Он сел прямее и старался внимательно слушать, но свобода, с какой всего несколько минут назад рассматривал ее лицо, исчезла.

— Окно бы закрыли, — проворчала заступившая на смену Дарья Степановна, — сквозит!

Николай Михайлович закрыл окно.

— Сейчас мы уходим, тетя Даша! — сказала Светлана. — Расположение Володи ко мне заметили, — заторопилась она, — и, как говорится, без меня меня женили. Судили по-разному, но сходились на одном — Володя молится на меня, этим нельзя пренебрегать. Наконец, я должна сознавать, что двадцать восемь — не восемнадцать... Все это говорили от души. Решали, спорили... Даже о том, где справлять свадьбу...

— У нас научная дискуссия или клинический разбор? — подошла Антонина.

— Готовим обзор о распространенности онкологических заболеваний среди населения, — ответил Николай Михайлович, — хочешь принять участие?

— Готовьте! — фыркнула Антонина. — Я дежурю, пошла принимать больного.

— Так какой же у нас интенсивный показатель? — демонстративно громко вслед Антонине спросил Николай Михайлович и подвинул стул ближе к Светлане, наклонившись над ее плечом.

Он не мог не почувствовать как напряглась Светлана при этом. От ее волос пахло ландышем. «Старый су-

харь!— подумал,— быть или не быть... Уже опоздал. Оно уже есть. Прорезалось без спросу и расчетов. Как же теперь»?

А вслух сказал:

— Рашид говорил, что уже приготовил в подарки.

— Да. Но никто никогда не пытался понять, люблю ли я Володю, словно это подразумевалось само собой.

— А он сам?

— Тоже не спрашивал. До последнего дня... А когда спросил, я ответила прямо.

— Что же ты ответила?

— Что не люблю... Я слишком хорошо к нему отношусь, чтобы обманывать, понапрасну обнадеживать. Я не обманула его. И не обману. Поэтому не могу выполнить «поручение кафедры» — вернуть его. Вы... — выдохнула Светлана почти с отчаянием, — как вы не можете понять?

XI

— Жена беспокоится, — произнес Павел Глазырин. — Я пробовал ее убедить, что хирургия лучше терапии — но, кажется, убедил недостаточно. Вы смогли бы поговорить с ней завтра, Николай Михайлович?

— Конечно. — Рославлев смотрел на Глазырина, стараясь не высказывать своих чувств. Сколько прошло времени? Три недели? Всего три недели назад он смотрел на этого молодого человека как на эталон физического совершенства, жизненной силы, здоровья. А сейчас? Это осунувшееся лицо, особый оттенок кожи, измученный взгляд... За двадцать с лишним дней Рославлев ни разу не наведался в терапию. Он не забыл о Глазырине, но навещать его не хотелось. Притом Рославлев не воспринял Глазырина как серьезно больного... И вот вчера того перевели в хирургию.

— Поговорите? — еще раз повторил Глазырин.

— Обязательно.

Глазырин смотрит прямо и доверчиво. Говорит только о жене... О диагнозе не расспрашивает. О чем он догадывается? О чем не догадывается?

— Завтра буду ждать вашу жену для беседы. Всего доброго!— Николай Михайлович вышел из палаты.

...В истории болезни Глазырина было много анализов, рентгенограмм, записей разных специалистов. «Оно» локализовалось в определенном отрезке кишечника.

Подошел Рашид и молча передал только что полученное заключение о результатах биопсии. Слова в заключении были подчеркнуты красным карандашом. Сомнений не оставалось.

— Ясно. Повторная биопсия не требуется, — глухо сказал Рашид.

Зазвонил телефон, Рашид взял трубку:

— Кафедра хирургии. Да. Из конкурсной комиссии? Телефонограмма? Одну минуту, — Рашид нашел карандаш, — записываю: «Постановление конкурсной комиссии врач Рославлев Николай Михайлович, представивший документы для участия в конкурсе в очную аспирантуру... по возрасту — тридцать восемь лет,— согласно существующему положению, не может быть допущен к вступительным экзаменам. Представленные документы можно получить у секретаря... Фамилия принявшего телефонограмму?»— как эхо повторил Рашид.— Принял врач Ходжаев. Передать Рославлеву? Уже передал... Тогда все в порядке... Как — это все в порядке? — Рашид положил телефонную трубку. — Как же это, Николай Михайлович? Как же теперь?

— Ничего не попишешь — сказано же по возрасту... согласно положению. Препятствие формальное, но непреодолимое.

— Каждый год войны считается за три, — Рашид за-

гнул три пальца.— Значит, вам положено отнять от ваших тридцати восьми по крайней мере десять. Вы сколько служили? Получаем двадцать восемь... Так нельзя, Николай Михайлович. Надо бороться.

— Спасибо, Рашид!

Николай Михайлович вспомнил солнечное мартовское утро в перевязочной, Осипа Петровича, решающего судьбу Гребенщикова и его собственную судьбу... Как давно. Гребенщиков выписан домой. На его месте лежит Глазырин... Глазырина будет оперировать он, Рославлев, независимо от допуска к экзаменам!

— Пойдемте вместе в конкурсную комиссию, Николай Михайлович!

— Спасибо, Рашид...

— Вам нельзя уйти из хирургии, Николай Михайлович. Никак нельзя!

— Я не уйду, Рашид.

Телефон зазвонил опять.

— Алло! Вас, Николай Михайлович!

— Я слушаю! Алеся, ты?.. Где? На Колхозной? Да, буду.

«Сказать ей первой правду о Глазырине. Пусть поможет подготовить его жену»..

Николай Михайлович пошел в палату к Глазырину. Он ничего не мог сказать ему и... не мог не пойти.

Глазырин спал. Николай Михайлович опустил оконную штору, чтобы свет не беспокоил больного.

Теперь он нес в себе трагедию Глазырина и как врач, принявший эстафету от Осипа Петровича, и как человек, сам утративший природное здоровье в молодости.

Николай Михайлович увидел Алесю раньше, чем она его. Алеся смотрела на небо, дома, верхушки деревьев. Наконец увидела Рославлева. Своевольная нижняя губка, темные глаза, полные жизни и торжества. Первое впечатление от этой довольной, нарядной, цветущей жен-

щины одновременно отчуждающе и пленительно подействовало на него.

Он вспомнил, от кого и зачем пришел.

— Алеся, — начал Николай Михайлович, — я должен тебе сказать, то, что очень трудно выговорить.

— Подожди, подожди. — Алеся посмотрела на него сбоку, — никак не могу понять, что в тебе появилось новое. Постригся, что ли, по-модному?— Она взяла его под руку.

— Не знаю, как начать... — Николай Михайлович хотел сказать о Глазырине, о диагнозе, но по тому, как напряглась Алесина рука, он догадался, что она поняла его иначе, что она боится напоминания о лесной прогулке.

— А ты «охирургичился», — сказала Алеся.

— Что это значит?

— Ну, прорезался как хирург.

— Это комплимент? Благодарю.

— Я серьезно. В твоем облике, особенно после фронта, есть что-то такое, что располагает к доверию. Я думаю, больному легко с тобой. Это не всякому дано. Только не обольщайся, сказанное относится к твоим профессиональным занятиям. А в отношениях с близкими ты бываешь чуток... наизнанку. Вот тебе! Кстати, не обижай, пожалуйста, Светлану Санину.

— Ничего не понимаю! При чем здесь Светлана Санина?

— Это по свойственной мне непоследовательности.

— И по интуиции, — добавил Николай Михайлович.

— Мне кажется, — продолжала размышлять вслух Алеся, — понять и принять чужое горе, — это еще не все. Помочь собственноручно — вот предел. Ты был скован. А теперь раскован, — Алеся отошла на несколько шагов в сторону, как бы изучая движения Николая Михайловича. — В тебе появился дух активного вмеша-

тельства. Я заметила еще после твоего доклада на обществе. Теперь это закрепилось. Мне кажется, что и Светлана должна заметить такой сдвиг!

— Ну и расписала, ну и накрутила! Выдумщица...

— А самому приятно.

— Не отрицаю... Знаешь... Павла перевели в хирургию. Он в моей палате.

— Вот это здорово! А то Наташа измучилась: ничего определенного, диагноз неясен, обследование за обследованием. Ты-то ведь не будешь тянуть?

— Жена Павла с вами?

— Да... Если бы ты знал, как Наташа играет! Дети в ней души не чают. Я даже ревную... А сама очень люблю работать под ее музыку — помогает вглядываться и видеть красивое, значительное, собрать его в краски... Мне почему-то сегодня обязательно захотелось быть в красном.

— А я знаю,— сказал Николай Михайлович. Пойдем на Собачью площадку, объясню. Ты же собиралась посмотреть, как я живу.

Они пошли пешком по тем местам, где столько раз ходили в юности. Поднялись по темной лестнице.

Алеся с любопытством смотрела кругом.

— Какая-то телеграмма валяется.

— Это от Вали. Сообщает, что благополучно добралась до Ферганы, Алеся подняла телеграмму.

— Скажи, вот ты сыграл тогда такой некрасивый спектакль с женитьбой. А в результате вы стали родными, правда? По-настоящему?

Николай Михайлович удивленно посмотрел на нее — он ни единым словом никогда не обмолвился перед Алесей о своей семейной жизни.

— Откуда такая информация?

— Это не информация. Я угадывала по интонациям, по выражению твоего лица, когда речь заходила о Кли-

не. И по голосу, и по молчанию. Ты думаешь, мне это было безразлично? Я ведь уже говорила, что жила тобой.

— Это я тебе сказал.

— Разве? А я была уверена, что я... А здесь что?— Они прошли в кабинет.

Портрет темноволосой девочки — в лучах заходящего солнца.

— Он здесь?— удивился Николай Михайлович.— А я был уверен, что исчез; думал, ты для того и надела красное платье, чтобы воплотиться в этот портрет, а потом выйти из рамы ко мне...

— Какой же — юной или постаревшей?

— Неизменной. Вечной.

— Боже мой,— проговорила Алеся, глядя на портрет,— да ведь это не только я,— она поднесла руку ко лбу,— это Алена... через десяток лет!

— Есть еще портрет. Черный,— сказал Николай Михайлович.— Помнишь, как ты меня выгнала?

— Да,— медленно проговорила Алеся.— Интересно, думал ли ты когда-нибудь, что должна чувствовать я, зная, что из-за меня ты нарочно искалечил свою жизнь? Валя в Клину, медицина вместо живописи. Как будто все утряслось. Но я-то помню. Это ты и приходил проверить тогда... Плохой черный портрет!

— Я его сделал от боли... по тебе.

— Все равно плохой.

— А этот, в красном?

— Хороший... Я помню его.

— Как ты можешь помнить? Ты спутала.— Он хотел услышать ее ответ.

Но она промолчала, прошлась по комнате, погладила дверцу шкафа, потом села на диван.

— Ты здесь спишь?— Алеся потрогала подушку.— Видишь меня во сне?

— Да,— он закрыл глаза.

— Ты думал обо мне?

— Каждый день.

— Невозможно!

— Почему невозможно?

— Это... это нелепо! Ты врешь!

— Какой смысл мне врать?

Он сидел неподвижно. Она опустила голову на подушку.

— Помнишь, как ты была здесь?— он протянул руку к рассыпавшимся по подушке темным волосам.

— В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое февраля тысяча девятьсот сорок второго года. На следующий день ты уходил на фронт.

— Жалеешь, что была?

— Нет.

— Врешь!— сердце заколотилось бешено от отчаяния, от надежды... Неужели через столько лет это может нахлынуть так сильно?..

— Ну, вот. Теперь я отвечу твоими словами — зачем мне врать?.. Вот у этого самого шкафа ты читал стихи: «Жить хочу для дерзкого полета...». И еще: «Жди, когда не станет ждать уж никто другой...». Коля! Я помню все-все до последней мелочи,— она зажмурилась.

— Я так часто думал, лучше бы мне вовсе не появляться в твоей жизни. И вдруг ты здесь, у меня, опять... — Голос его был глух.— Может быть не надо... оживлять призраки?

Алеся взяла его руки в свои:

— Глупый ты, глупый! Можешь ли ты, наконец, понять, что я благодарна тебе. Ты разбудил меня к любви, разбудил во мне женщину.— Она обняла его, при-

жалась щекой к его лицу.— Скажи, почему ты ушел тогда?

Он молчал.

— Не надо спрашивать?

— Не надо.

— Хорошо, я не буду...

Алеся поднялась с дивана, сделала несколько шагов по комнате, выглянула в окно.

— Какой типичный старый московский дворик! Скоро таких не останется,— она вздохнула.— Ну, я пойду.

— Алеся, я с самого начала собирался сказать. Пришел основной анализ. У Павла злокачественная опухоль...

— Опухоль? Но ведь ее вырежут... Или?.. Ведь это, Коля...

— Да. Нужна операция. О будущем говорить трудно. Трудно обещать. Понимаешь? Завтра ко мне придет его жена для беседы...

— Понимаю. От Наташи скрыть не удастся...

— Постараюсь поосторожнее. И ты помоги. Нужно собрать все силы.

— Попробую. Спасибо, что ты сказал мне... Так вот откуда в тебе это...

— Что?

— Я сказала, что ты стал Хирургом. Я постараюсь... С Наташей. Не провожай меня! До встречи!

Перед обходом Полосухин попросил историю болезни Глазырина.

— Больной знает?— спросил он у Николая Михайловича.

— Не расспрашивал. Но думаю, что догадывается. Все эти исследования... Нарастающая непроходимость... Ждет решения...

— Пойдем!

Высокая, чуть мешковатая фигура Ивана Алексеевича останавливалась у каждой койки.

Полосухин пальпировал тщательно и медленно. У него не было распространенной среди многих врачей манеры похлопывать больного по плечу, гладить по голове, многозначительно брать за руку. Иван Алексеевич не допускал лишних движений и слов. Но никогда не перебивал говорящего, будь то сам больной, сестра или ведущий врач. Говорил он четко, не любил ветвистых обозначений паталогии и избегал банально-обнадеживающих слов. Надежду давало безошибочно угадываемое всеми больными его живое участие, готовность помочь облегчить. Он мастерски умел пробудить к жизни, извлечь из-под спуда — у каждого по-разному — собственную внутреннюю веру в излечение, нередко придавленную печальным опытом, медицинской неграмотностью или слабоволием.

У койки Глазырина Полосухин сказал:

— Будем вас оперировать, Павел Сергеевич. Николай Михайлович Рославлев и я.— Что-то прикинул в уме.— Я на несколько дней должен вылететь в Норвегию, так что... в конце следующей недели.— И добавил совсем тихо:— Наша обязанность — дать вам хирургический максимум. Ваша обязанность — принять его. Это обязанность, не право выбора. Так?

— Так,— ответил Глазырин.

После обхода Полосухин пригласил Николая Михайловича в свой кабинет и опять попросил историю болезни Глазырина.

— Инженер-конструктор, двадцать девять лет. Какая у него семья? Врачей среди родных нет?

— Отец умер. Мать живет с сестрой в Сибири. Здесь у него жена и брат.

— Жена тоже инженер?

— Пианистка.

— Детей нет?

— Нет... Брат сейчас находится в командировке за границей. Полосухин задумался.

— Не будем вызывать брата. Вызов как-то сгущает безнадежность. Жене сообщим в общих чертах. Смягчить диагноз — да, но обманывать — нет.

— Да... Иван Алексеевич!.. Я должен вам сказать: с аспирантурой у меня не вышло. Отказ. Забраковали по возрасту. А уйти из хирургии... Не могу я уйти. Как теперь быть?

— Нескладно получилось,— Полосухин покраснел.— Видите ли, я виноват, не сказал вам вовремя... Собирался... Ну... Ну, просто закрутился,— неожиданно скороговоркой пробормотал Иван Алексеевич, — это не оправдание, конечно... Впрочем, по порядку,— продолжал он уже четко, размеренно, — когда Осип Петрович заговорил с вами об аспирантуре, это не было уловкой. Говоря современным языком, так было запрограммированно. Но жизнь вносит поправки в самые безукоризненные программы.— Полосухин помолчал, что-то прикидывал.— Тут пересеклись две линии. Одна — то, что вы пришлись ко двору, стали своим, нашим еще задолго до этого аспирантского конкурса. Другая... другая — Осип Петрович не вернется к нам больше.

— Как — не вернется?

— Существует избитая истина, что врач должен уходить в тот момент, когда сам замечает, что сдал. Полосухин привычным жестом поправил свои непослушные волосы.— Не все способны на это. А Осип Петрович способен... И не скрою, ваш переход на хирургию ускорил его решение...

Николай Михайлович почувствовал, будто сердце оборвалось в груди. Вспомнил: неожиданное «ты» при прощании со Стариком; его странно долгий взгляд на свои руки, согнутая спина... Как заменить Осипа

Петровича? Не на отпускной месяц, а вообще?.. Укрепиться в хирургии такой ценой? Николай Михайлович решительно поднялся с места.

— Вот... вот и Осип Петрович все беспокоился,— как-то слишком понимающе посмотрел на него Полосухин.— Я обещал ему, что сделаю все, чтобы вы смогли понять и принять. Ведь брат—тоже обязанность. Иногда — нелегкая обязанность.— Полосухин торопливо перебирал кипу бумаг.— Что касается научного роста — кафедра к вашим услугам. Не обязательно числиться аспирантом или ординатором...—Иван Алексеевич наконец нашел и раскрыл письмо.— Вот, что еще хотел сказать вам: объявился Прокапюк. В Тюмени.

— Прокапюк в Тюмени?

— Прислал информативно-покаянное извещение. С осени начнет работать там на кафедре. Видите, как жизнь на свой лад обкатала наши с вами хирургические планы, включила их в общий поток, а значит, утвердила. В добрый час!

XII

— Сегодня ты уже не в красном?— заметил Николай Михайлович, здороваясь с Алесей.

— Сегодня я курочка-ряба,— ответила та. На ней было серо-черное в пестрых крапинках платье.— Почему ты так поздно позвонил? Я битых два часа проторчала у телефона. Не хотел идти на Плющиху? Или это твоя обычная манера являться на свидания?

— А ты ждала?

— Конечно!

— Я, правда, думал уже не идти. Был трудный больной. Три слишним часа простояли за операционным столом. Предупредить тебя не мог... Куда мы идем? Какие-то закоулки...

— Посмотри назад и запомни.— Алеся остановилась. — Перекресток ты знаешь, рассеки по диагонали вон тот новый сквер и продолжи линию...

«Чувствует, что никогда-то мне не быть постоянным визитером в ее доме, оттого-то так подробно объясняет», — догадался Николай Михайлович.

— Рассекаю по диагонали новый сквер,— послушно повторил он вслед за Алесей.

Не хотел смотреть ей в глаза, но не удержался и взглянул. Алеся опустила голову.

«Так и есть»,—подумал и как можно непринужденнее взял ее под руку.

— Стой, а где же наша школа?

— Ее нет уже давно. Видишь, тополь сохранился. Если придешь еще через двенадцать лет, и его не останется.

Тополь. Один из тех великанов, на которые он смотрел из-за школьной парты, когда рисовал Алесю с косичкой за ухом.

— Под ним Анита. Наша юность.

Николай Михайлович остановился.

— Да. Мне рассказывал Павел.

— Павел такой добрый, такой особенно деликатный, тонкий... Я говорила с Наташей. В пределах возможного... Просит об одном: использовать ее как можно больше для ухода за Павлом после операции. Обещаешь?

— Обещаю. От души.

— Спасибо.

Подошли к подъезду.

Николай Михайлович открыл тяжелую дверь. Широкие каменные ступени, отполированные и стесанные. Почему в воспоминаниях юности им принадлежит особое место?

— Вот на этой площадке, — сказал Николай Михайлович,— я однажды чуть не растянулся с позором.

Из-за хромой ноги. Ты тащила меня за руку наверх беспощадно быстро, без оглядки, я еле поспевал. Мы спешили встречать Новый, тысяча девятьсот сорок седьмой год.

— Тебе бы попросту сказать про свою ногу, а мне бы сообразить. Я была такая дура! Да и ты...

Алеся отперла дверь квартиры, замялась.

— Я хотела тебе сказать... ты проходи, что стал у порога? Я не буду говорить с тобой о Вадиме. Это было бы предательством. Только скажу: я люблю его и детей. Я благодарна ему... Ну, смотри мои апартаменты. Где какая комната, помнишь? Папин кабинет — теперь кабинет Вадима,— она притворила туда дверь. — Извини за беспорядок. Летом кочуем: то — в Вялки, то — опять в Москву. Вечные Вадимовы командировки. Мы здесь, как на бивуаках.— Алеся на ходу смахнула пыль с зеркала попавшимися под руку детскими колготками.

Николай Михайлович остановился в передней. Не беспорядок его смущал. Далеко не просто оказалось войти в «глазыринское гнездо». По квартире там и сям — интимные спутники чужого быта. Алесе они примелькались, а ему кололи глаза. Он старался не глядеть на них и... не мог не рассматривать.

— Иди сюда!— сказала Алеся.

Николай Михайлович прошел по коридору, как-то сжавшись, стараясь не задеть чего-нибудь ненароком. Кем он был в этом доме? Не состоявшимся молодым хозяином? Добрым знакомым? Наглым вором? Посторонним без всяких прав?

— Бывшая Витина комната — теперь Павла и Наташи. Маленькая — мамина,— объясняла Алеся,— а здесь у нас — комплекс: столовая, детская и она же мастерская.

По стенам и окнам комнаты густо вилось какое-то ползучее растение.

— Прямо как в беседке,— сказал Николай Михайлович.

Обоим было неуютно. Николай Михайлович кружил по комнате. Алеся неловко вытянулась у притолоки и терзала дверную ручку.

— Я очень ждала твоего прихода. Много надо сказать... Важного. А мысли разбегаются,— она детски откровенно выпятила губу, посмотрела на него исподлобья: мол, подскажи! Но он молча ходил и ходил по комнате — взад и вперед.

— Пожалуйста... перестань метаться,— попросила Алеся.

— Еще живо?— Николай Михайлович остановился перед старинным бюро, которое помнил как «папино». На бюро лежали вперемежку детские и Алесины рисунки, игрушки, неоконченное вязание. В глиняном кувшине стояли ветки жасмина.

— С дачи,— объяснила Алеся.— Все собираюсь навести порядок... Но это бюро не любит порядка. И праздных безделушек не любит. Так и при папе было, помнишь? Оно — для работы.

— А вот, смотри, фотографии. Иди сюда,— Алеся положила на диван альбом и два больших конверта,— да не бойся ты смотреть: все лица родные. Знаешь, за эти годы я обросла, как дерево, ветвями, ростками, они от меня неотделимы. Это моя, но и не только моя жизнь, — непослушными пальцами она перелистала, взъерошила альбом.— Вот здесь Павлику восемь лет, моя любимая фотография.— Она протянула ее Николаю Михайловичу.— А Аленка... Подожди минуту!— Алеся соскочила с дивана, вышла из комнаты.

Долго не возвращалась. Николай Михайлович не-

терпеливо двинулся было за ней, но остановился — она же в кабинете Вадима.

«Вы-то здесь зачем, Николай Михайлович?»— Он встал с дивана и сделал шаг к двери. Навстречу ему вошла Алеся с фотографией.

— Вот смотри!— она снова пристроилась на диване среди альбомов и знаком позвала его.— Здесь ей три года. Точно я! Еще в коляске на «агу» улыбаться не удостаивала, на заигрывания и воркотню — ноль внимания. Слезы — тоже редкость. Насупится — пойди догадайся, отчего... Павлик—тот добрее, откровеннее. Отзывчивый такой, щедрый. А Алена скупа на ласку. Бабушка вечно в обиде, старается ее ублажать... А это узнаешь? Твоя возлюбленная Вита с племянниками.

Николай Михайлович жадно вслушивался в новые для него ноты Алесиного голоса. Не было сомнения: она делилась с ним самым сокровенным, что накопила без него. Она передавала ему фотографии — свое богатство и душу. Так же, как когда-то, после военной разлуки, она сразу и без утайки принесла ему всю себя.

— Покажи мне еще, — попросил Николай Михайлович,— мне так хочется понять их.

В ее глазах мелькнуло недоверие; сменилось радостью и — слезы выступили... Она перелистала альбом:

— Вот Глазырины, старший и младший. Правда похожи? Я-то чувствую их обоих и потому ясно вижу, сколько нужного для художества растет в Павлике именно от Вадима.— Алеся потерла виски.— Понимаешь, у Вадима своя поэзия в математических знаках, как у меня — алгебра в рисунке. А у Павлика — наше... и уже другое. Так волшебно и так... обычно! А вот здесь все «святое семейство» в сборе, прошлым летом... А это современный, расширенный вариант — с Павлом и Наташей.

Алеся придвинулась к Николаю Михайловичу и положила руки ему на плечи.

— Коля, мне так хотелось показать тебе лица и стены, среди которых живу. Я обязательно покажу тебе всех — настоящих и живых...— Она запнулась, но руки крепче обвили его шею.— Не уличай меня в том, что ты для меня ничего не значишь или значишь мало. Не разрывай мне душу! Ну, придумай что-нибудь! Не то я разревусь...— она соскочила с дивана.

— Покажи мне твои работы,— попросил Николай Михайлович.

— Мои работы? Сейчас!— Алеся шмыгнула носом и отерла глаза.

Она вытащила из шкафа и из-за бюро несколько папок.

— Вот... «Во дворе большого дома». А вот «Мальчики мечтают». Тут Вадим, оба Павлика, их приятели, от пяти до пятидесяти... А вот она, моя «Спящая». Была на выставке. Получила диплом. Закупочная комиссия наложила на нее лапу. Но я не отдала. Пусть будет дома. Ну, как, доволен своей ученицей? Все, что ты видел, столь же твое, сколь и мое. По-честному. Ты не можешь не согласиться!

Если б она выдумала это ему в утешение, и то он был бы ей благодарен. Но она говорила правду: в ее «почерке», в сильных, зрелых работах он не мог не увидеть те же свои «отправные точки»...

— Боже мой! А пирог? — встрепенулась Алеся.— У меня совсем из головы выскочило. А ты так и сидишь голодный... И молчишь. Сейчас поставлю чайник!

— Подожди... Уже половина восьмого... Пора...

— Ладно. В следующий раз приготовлю что-нибудь вкусное, вот увидишь!— бегло начала Алеся и замолчала.

— Непременно! В следующий раз, и я не заставлю

себя ждать. Буду точен, как штык!— бодро откликнулся он и даже подмигнул ей.

Сегодня они подсказывали друг другу на равных. Оба понимали: эта встреча — прощание.

— Изобрету что-нибудь такое,— отчаянно обещала Алеся,— пальчики оближешь! Только намекни, что ты любишь?

Он поцеловал ее — нежно и благодарно.

— Тебя люблю. Пора!

— Уже уходишь?— она доверчиво погладила его рукав.— Подожди еще...

— Люблю тебя. Очень,— сказал Николай Михайлович.— Я пойду.

— Да,— кивнула Алеся.

Утром из норвежской командировки возвратился Полосухин. Николай Михайлович в ожидании вызова к шефу набросал список неотложных вопросов. Но Полосухин неожиданно сам заглянул к нему.

— Доброе утро!— Иван Алексеевич покосился на мягкое кресло, но, видно, оценил его как излишне комфортное, не подходящее для энергичной беседы, сел на стул.— В отделении все благополучно?

— Да. Трудновато с персоналом. Многие в отпуске. Не откажешь по-человечески. Приходится в порядке исключения разрешать совместительства.

— Глазырин?

— Ждет операции.

— Думаю, назначим на пятницу. Начало послеоперационного периода пройдет при мне. Потом все ляжет на ваши плечи. Я, впрочем, буду недалеко, оставлю вам свои координаты. Но об этом после. С анестезиологами вы переговорили? Их мнение?

— Вот,— Николай Михайлович показал запись консультации.

Иван Алексеевич прочитал, кивнул:

— Итак, готовьте к пятнице. За Глазырина еще поборемся!— он закрыл историю болезни и отложил ее в сторону.— В самое ближайшее время хочу поделиться норвежскими впечатлениями. Можно будет пригласить в гости на кафедру кое-кого из других подразделений. Аппаратура, система обследования больного, учет — есть к чему присмотреться. Я уж не говорю о соснах, фьордах, гранитных скалах. Страна викингов!.. Вот, между прочим, отклики прессы на наш визит с соответствующими фотоиллюстрациями.— Полосухин вынул из папки несколько газет. — Да, поначалу бросается в глаза культура, организованность... А приглядишься — матерь божья!— голый уродливый прогматизм. Циничный прогматизм! Я — не в частности про Норвегию. Пришлось побывать в разных странах. Чистоган — за здоровье, за чувства, за честь и достоинство врача. Страшно, что денежная мера все крепче, все привычнее входит в обиход. Машина рассчитывает прогноз, а заодно — убыток и выручку. Душно! Когда возвращаюсь домой, хочется вздохнуть полной грудью. — Иван Алексеевич сделал глубокий вдох.— Насколько мы все-таки щедрее, благороднее, нравственнее!

Николай Михайлович невольно, вслед за Полосухиным, обвел взглядом кабинет Осипа Петровича: старый письменный стол, цветы на окнах, разнокалиберные переплеты книг за стеклами шкафов,— и живо вспомнил Старика — у порога, ворчливо толкующего о резиновых перчатках. Осип Петрович...

— Вы тоже сейчас его вспомнили, правда?— улыбнулся Полосухин.— Бывало, зайдешь сюда... Я ведь к вам, собственно, с предложением, Николай Михайлович, признаюсь, отчасти стимулированным этой поездкой. Дело важное, назревшее: пора громче заговорить о новых проблемах врачебной этики. С машинами, знаете,

все так... да и не так. Короче, в наше время научно-технической революции мы тем более не смеем забывать живого человека — больного с его переживаниями, не всегда поддающимися машинному анализу. — Полосухин спрятал в папку норвежские газеты.

— Вы здесь, Иван Алексеевич? Я правильно догадалась! — в дверях появилась секретарша Полосухина.— Извините! Вас просят на консилиум!

— Иду!— Полосухин встал из-за стола.— Значит, договорились, Николай Михайлович!

До операции осталось три дня. Глазырин попросил Николая Михайловича дать более сильное обезболивающее.

— Странно,— сказал он, опустив глаза,— раньше, когда отвлеченно думал про опухоль и про смерть, больше досадовал. А теперь, когда «это» стало конкретной растущей болячкой... поверите ли, стало страшно. Вечером придет жена. Не хочется выглядеть размазней.

Николай Михайлович распорядился сделать дополнительный укол.

Во время вечернего обхода Глазырина на месте не оказалось.

— Ждет жену,— сказала сестра.

Николай Михайлович увидел Глазырина на площадке лестницы. Он стоял, опершись о перила,— высокий, исхудавший,— и смотрел вниз. Снизу стремительно поднималась женщина.

— Наталья Иннокентьевна, или просто Наташа. Моя жена,— представил Глазырин.

— Извините, что поздно, попала на электричку в часы пик, — Наталья Иннокентьевна перевела дух, загорелыми руками подростка, которым не хватало женской округлости, она сжимала букет полевых цветов.

Она не взяла Глазырина под руку поддерживающим

движением, как обычно берут больного, просто прижалась плечом к его руке.

Дежурная сестра многозначительно посмотрела на часы, но в присутствии Николая Михайловича от комментариев воздержалась.

— Без передачи — зачем попусту ходить-то тревожить?— проворчала нянечка. Ему силы надо беречь... Да и холодно небось вечером в таком платье.

— Я ненадолго,— сказала нянечке Наталья Иннокентьевна.

— Можно, мы посидим немного в сквере возле корпуса?— спросил Глазырин.

— Можно,— разрешил Николай Михайлович,— только не позже девяти.

Глазырины ушли в сквер, а Николай Михайлович, распорядившись насчет назначений на ночь, прошел в кабинет дежурного, попросил крепкого чаю, связался по телефону с операционными постами и закурил, перелистывая историю болезни.

Он собирался писать, но его внимание привлекли голоса под открытым небом. Николай Михайлович узнал Глазырина.

— Передай Алексею Андреевичу большое-большое спасибо. За все. Это решение с проектом — для меня сейчас лучшее лекарство. Так и скажи. Навещать меня не надо. Никаких хлопот не надо. Здесь лучшие врачи, в которых я абсолютно уверен. А вот после операции — милости прошу. Домой. Если бы ты знала, как хочется домой. Расскажи, как там, на воле.

— Ты сядь спиной к этому столбику, так удобнее,— тихо сказала Наташа.— Дома все в порядке. Вот дети прислали тебе письма и рисунки, зря нянечка ругала меня, что нет передачи. Потом посмотришь.

— Как они? Не докучают тебе? Дают играть хоть сколько-нибудь?

— Не только дают, но и помогают. И с Алей мы, как сестры.

— А как с ездой сюда? Ты брось эти каждодневные посещения. Я избаловался видеть тебя часто, а тебе мотаться по электричке... было слышно, как он поцеловал ее.— Правда, скоро свидания вовсе будут исключены. Разве что на минутку у постели. Но мы перетерпим, да?

— Конечно. Ты спрашивал про музыку. Знаешь, я решила разучить Шумана. Фантастические пьесы.

Темнело. Повеяло сыростью надвигающейся ночи.

— Ты ходила к врачу?

— Ходила.

— Что же?

— По их математике ориентировочный срок — начало января. Мы рискуем им спутать годовую отчетность, — она засмеялась так же, как говорила, тихо, звеняще. — По моему же календарю, судя по «Порыву» Шумана, должно быть под Новый год.

— «Порыв»? Не совсем понимаю.

— Помнишь, начало весны, пустая квартира, мы вдвоем пьем шампанское за твой проект...

— В тот день я получил важную визу в решающей инстанции. Не без боя. Чувствовал себя победителем. А вечером ты потащила в консерваторию, чтобы отпраздновать удачу.

— На концерт Рихтера.

— Да, помню: легкий хмель от шампанского, от тебя рядом, от все еще звучащей в голове музыки, от гордости недавней победы в госкомитете... А почему мы были одни?

— Аля с Вадимом путешествовали по Италии. Детей Анна Васильевна забрала на дачу перед весенними каникулами. Ты говорил, что чувствуешь в себе силу жить, искать, сражаться. Просил меня воспроизвести не-

которые вещи из только что слышанного концерта. У меня получалось далеко небезупречно.

— Но я был доволен.

— В этот вечер, я считаю, из двух наших жизней зародилась третья. Потому я решила разучить Шумана. А помнишь первое апреля?

— А я сразу понял, что это не обман.. Иди-ка сюда, так будет теплее.— Наверное, он укутал Наташу своей пижамой.

Было уже поздно. На территории больницы осталось совсем немного задержавшихся посетителей. Четко слышалось, как по асфальтовым дорожкам на разные лады постукивали, хлопали, цокали и шлепали торопливые шаги. Зашелестела ветка дерева, которую задела проехавшая машина. Пора было разлучить Глазыриных, но у Николая Михайловича не хватало духу.

— Так удачно получилось, что Аля взяла напрокат пианино на дачу. Я играю вечерами. При лунном свете, чтобы не мешали комары,— говорила Наташа.— Уже почти все по памяти. Дай руку. Сейчас я тебе сыграю. Ну, что ты смеешься? Я буду играть на твоих руках, ты вспомнишь «Порыв» и услышишь музыку. Слушай!

Все замерло... Несколько минут тишины...

— Вот. «Порыв»,— тихо сказала Наташа.— Если, значит, под Новый год... Будем встречать втроем... Ты спрашиваешь, не мешают ли дети? Вчера я начала играть, когда они уже легли. Вдруг Павлик пробрался тихонько ко мне, забрался на подоконник. А за ним — темные разрезные листья клена и июльская ночь. Я, играя, оглянулась: твои глаза,— нет, не глаза — твой взгляд в лунном свете... Ты устал? Я замучила тебя, милый? Не сердись, что плачу, это потому, что тебе больно. Никто не увидит. Ну вот... Ты не думай, что я сержусь, когда ты меня прогоняешь. Я ведь все понимаю, все.

— Знаю.

Шорох, еще... Какие-то камешки посыпались вниз. Стихло.

Николай Михайлович зажег настольную лампу. В дверь постучали. Вошел Глазырин. Николай Михайлович попросил его сесть.

— Мне легче стоять,— тихо сказал Глазырин. — Я хотел спросить... Через полгода у нас будет ребенок. Нет-нет, я не о том, буду ли я еще жив, хотя так хочется дожить! Я вот о чем: следует ли этому... существу— быть? По генетическим, медицинским и чисто человеческим соображениям? Кому решать?

Николай Михайлович заговорил неловко, не по-врачебному, и почему-то сказал то, о чем не говорил до сих пор никому, никогда:

— Медико-генетические соображения очень спорны. Они дают основания для сомнений, не более. Соображения, как вы говорите, чисто человеческие... Это сложнее. — Николай Михайлович потянулся за папиросой, но пачка оказалась пустой, он смял ее и выбросил. — Лет пятнадцать назад в моей жизни была трудная ситуация. Отчасти похожая на вашу. Я вернулся с фронта после контузии и ранения. Многие, подобные мне — и гораздо хуже меня по здоровью, инвалиды — благополучно женились. От них рождались дети. Я это видел, я даже «благословлял» некоторых, но сам... сам считал себя обязанным устраниться. — Николай Михайлович стиснул пальцы. — Я ушел из ее жизни. Как говорится, взял на себя, думал, дескать, по-мужски, не впутывая ее. Нет! Не было у меня тогда этого права — брать на себя!.. Вы знаете, о ком я говорю?..

— Знаю, — сказал Глазырин.

— Право увечного на жизнь. Право на соединение со здоровым. Старо, как мир. В вашем случае, я думаю, решать должны не вы и не ваша жена в одиночку. На-

до, чтобы решилось вместе, только вместе. При полном доверии друг другу. Освободить любимого человека от решения под тем предлогом, что бережешь его — это соблазнительная, но ложная позиция, кажущаяся сверхчестностью, за которой скрывается страх.

— Да, сказал Глазырин, — я тоже хотел вам сказать, я тоже совсем было решил отказаться от операции. Казалось, лучше дожить, что осталось, но хоть не быть разрезанным и перекроенным. Тоже думалось, в этом долг и мужество. — Глазырин остановился. Его невольно повторяющееся «тоже», которого он, видно, не замечал в волнении, не было случайным и звучало для Николая Михайловича особенно. — Но она, Наташа... Мы не говорили вслух, но я почувствовал, что она даже мысли такой допустить не может, чтобы без борьбы.... Я был бы тогда для нее — не я... Спасибо вам, что так поговорили со мной! Спокойной ночи!

Дежурство выдалось напряженное. Около двух часов ночи Николай Михайлович прошел в кабинет — сделать короткую передышку, покурить и выпить стакан крепкого чая. Он завел будильник, чтобы быть в операционной точно в назначенный срок.

Кругом было темно. Мебель в белых чехлах тонула в полумраке, позади черным пятном зияла открытая дверь в коридор. Светлый круг от настольной лампы — символ бодрствования и бдительности на всех дежурных постах — четко ограничивал свои владения, в которых находились будильник, стакан с почерневшим чаем, блюдечко с кусками сахара, несколько графиков под стеклом и ручка на листке бумаги для записи срочных телефонограмм.

Николай Михайлович сделал несколько глотков чаю и прикрыл веки. Перед глазами возникло операционное поле, с которым только что и довольно долго пришлось иметь дело. Николай Михайлович подумал о

Глазырине, о признаниях, сделанных этим вечером. Ясно, что Наталья Иннокентьевна решила родить ребенка. Она знает, что Глазырин рад ее решению, что это для него — мощный стимул к борьбе за жизнь...

Николай Михайлович положил голову на мягкую спинку кресла. Однако отчего он так неожиданно рассказал Глазырину о себе? Обоюдное признание и заверение получилось нечаянно, как будто обменялись самым дорогим, что есть у каждого.

Николай Михайлович закрыл глаза. Скоро позовут на операцию. Посидеть несколько минут в темноте и постараться полностью расслабиться. Вот так. Лишь бы не заснуть, но будильник успокаивающе тикал и разрешал «отключиться».

Вдруг Николай Михайлович ясно почувствовал, что он не один в комнате. От белеющих в темноте чехлов отделился кто-то в белом.

Он узнал Светлану.

Она подошла ближе.

— Я нечаянно подслушала. Я жду вас!..

Прозвенел будильник. Николай Михайлович резко встал, зажег верхний свет — один в кабинете.

Умылся холодной водой и пошел готовиться к операции. Тщательно обработал руки, надел стерильный халат... В операционной, над покрытой простыней фигурой больного, стояла Светлана. Видны были только ее серо-синие глаза между шапочкой и маской. Николай Михайлович занял свое место напротив:

— Ты... ты ждешь меня? — он протянул руку за шприцем.

— Жду, — сказала Светлана.

Утром в ординаторской оказалось необычно многолюдно — давали «отпускные». Касса еще не открылась, и все сидели в ожидании.

— ...Я так разволновалась, поверите ли, ночь не спала, — жаловалась Лилия Витальевна Антонине. — Мне кажется, я не вправе промолчать...

— О чем? — спросили Рогачев и Климов.

— Моя приятельница-гинеколог случайно рассказала мне, что на днях к ней явилась на прием одна молодая дама, пианистка, знакомая ей по семейным каналам с детства. Действительно, мне часто приходилось слышать о некоей Наташе Комаровой... — поникла головой Лилия Витальевна.

— Не совсем ясно... — перебил Николай Михайлович, — простите.

— В настоящее время эту пианистку зовут Наталья Иннокентьевна Глазырина. Она жена нашего больного, назначенного на операцию... Вы знаете, по какому поводу. Теперь ясно, Николай Михайлович? Продолжу. Глазырина, видимо, не советовалась с вами... о своем положении? Я так и думала. Ей трудно говорить об этом с мужчиной. Нет, нет, Светочка, пожалуйста, не уходите. Как раз к вам-то и будет одна просьба.

Светлана послушно вернулась на свое место. В одной руке она держала букет ромашек, в другой — банку с водой. Лилия Витальевна продолжала:

— Наш долг — предотвратить трагическую ошибку, которую молодая женщина может сделать по неведению, по легкомыслию... Надо убедить ее, что в возникшей ситуации рожать ей нельзя. Пока что супруги очень дружны. Но мы, врачи, к сожалению, знаем печальные перспективы.

— Сколько лет Глазыриной? — спросил Рогачев.

— Двадцать пять. Плюс-минус год. Она останется одна с сиротой-младенцем, рожденным от больного со злокачественной опухолью!

— А если она любит мужа и хочет ребенка именно от него?

— Не брани меня, родиая, что я так его люблю...— запел Кока Климов.

— Хорошо... Пусть у нее эта любовь — единствеиная, неповторимая! — вскипела Лилия Витальевиа. — Себе эта дурочка (простите!) вправе портить жизнь. Но тому, кто может родиться? Ведь она заведомо обрекает его на сиротство!

— Ты как считаешь, Рашид? — спросил Рогачев.

— Чем больше для мужа опасиость, тем вернее жена должиа родить. Это прямо пропорционально, — заявил Рашид.

— Вот и я говорю...

— Конечно, без ребеика горе забудется скорее, — вздохнула Антониия. — Эта Наташа еще столько раз будет иметь возможность устроить свою жизиь. И полюбит, и выйдет замуж, и родит... Хотя, с другой стороны...

— Нам ли это решать? — резонно заметил Климов.

— Вот имеиио нам. Мы же врачи! — с чувством произнесла Лилия Витальевна. — Я уверена, Светочка, что вы, как жеицина, как ровесница, как будущая мать, имеиио вы должны убедить Наталью Иннокентьевну отказаться от рождения ребенка!

Светлана молча перебирала ромашки.

— Глазырину иадо сказать, что все кончилось самопроизвольно, — посоветовал Калабин.

— Поверьте, ему только легче будет, — закивала Лилия Витальевна.

— Вы так думаете? — усомнился Николай Михайлович.

— Конечно, легче. И это — основиой довод, который надо привести жене, — спокойно продолжал Калабин. — Здесь важен умелый психологический подход,

без сомнения, лучше со стороны женщины. Светлана, я думаю, справится отлично.

— Я не буду разговаривать с женой Глазырина на эту тему.

— Почему? — вместе спросили Лилия Витальевна и Антонина.

— Хотя бы потому, что я лично родила бы на ее месте.

— Что вы говорите? Вы, врач, зная сущность заболевания, зная прогноз... — задохнулась Лилия Витальевна.

— У человека есть и другие основания для прогнозов. — Светлана поправила ромашки в банке.

— Какие же это основания? — снисходительно поинтересовался Калабин.

— Вера, надежда, любовь...



Шубина, Надежда.

Ш 95 Обретение. Повесть. Т., «Ёш гвардия», 1986. 144 с.

Надежда Шубина — кандидат медицинских наук, автор сорока научных работ — представляет свое первое художественное произведение.

В центре повести — образ талантливого хирурга Николая Рославлева, который после долгих и многочисленных внутренних разладов, обусловленных прежде всего войной и тяжелым ранением, вновь обретает себя.

ББК 54.5+Р2

ШУБИНА Надежда Константиновна

ОБРЕТЕНИЕ

Повесть

Рецензент — член СП СССР **Исфандияр**

Редактор **А. Гожио**
Художиик **В. Шумилов**
Художествениый редактор **Р. Зуфаров**
Техиический редактор **У. Ким**
Корреитор **З. Наджатова**

ИБ № 1923

Сдано в набор 17.07.85. Подписано в печать 20.12.85. Р 04106. Формат 70×108$^1/_{32}$. Бумага № 1. Гариитура «Литературная». Печать высоиая. Уч.-изд. л. 6,3. Усл. печ. л. 6,30. Усл.-кр. отт. 6,55. Тираж 15000. Цена 45 иоп. Договор № 84—85. Заиаз № 1584.

Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистаиа «Ёш гвардия», 700129, Ташиент, ул. Навои, 30.

Ордена Трудового Красиого Знамеии типография издательства ЦК КП Узбеиистана, Ташиент, ул. Леиина, 41.

С. Мадалиев.
Восхождение.
Стихи.

В. Стуловский.
Время «Ч»
Очерки.

Волшебный цветок.
Узбекские народные сказки.

45 к.

